

PI 1399447



Генри Лайсон
ШАШКА ПО КРУГУ

Оригинал - Тослитинда



Денри Ларсон
ШАПКА
по
КРУГУ

**АВСТРАЛИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ**

1399447

Вологодская областная
универсальная
научная библиотека
им. И. В. Бабушкина
Государственный институт
литературы

HENRY LAWSON
(1867—1922)

ПЕРЕВОД А. В. КРИВЦОВОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ
ЕВГЕНИЯ ЛАННА

ГЕНРИ ЛАУСОН

(1867—1922)

Генри Лаусон неведом нашему читателю. Ещё задолго до своей смерти он стал классиком Австралии.

Его отец, Петер Ларсен, выходец из Норвегии, приехал в Австралию в шестидесятых годах, был матросом, золотоискателем, овцеводом, выбился в мелкие фермеры. И здесь, в первой колонии на континенте Австралии, в Новом Южном Уэльсе (Нью Саут Уэлс), которую называют «колонией-матерью», вблизи городка Гренфелл, родился в 1867 году его сын Генри.

С раннего детства Генри узнал на опыте трудную жизнь обитателей австралийских джунглей. Правда, огромные пространства континента покрыты «зарослями» низкорослых эвкалиптов и акации, отличными от классических джунглей Индии и Австралазии, но необозримые, протяжением на сотни километров, заросли часто непроходимы так же, как непроходимы и классические джунгли. Там же, где «океаны» эвкалиптов (их насчитывается до ста пятидесяти видов) и акаций рассечены тропами и перемежаются столь же необозримыми пастбищами, жизнь поселенцев, разобщённых большими пространствами, не менее трудна, чем жизнь в джунглях. Эти трудности хорошо узнал сын Петера Ларсена, будущий писатель и поэт Генри Лаусон.

За шестнадцать лет до его рождения, в 1851 году, когда весь мир облетела молва о богатейших золотых россыпях, найденных в Австралии, поток голодных людей ринулся отовсюду в колонию Виктория. Среди тех, кого сын Петера Ларсена во дни своего детства встречал в своей округе, было немало таких пришельцев. Они давно уже убедились в тщете своей надежды сказочно разбогатеть, подобно счастливым, наткнувшимся на золотую жилу, неподалеку от местечек Бендиго и Балларат, где главным образом залегалось золото. Что и говорить, счастливые и в самом деле разбогатели, в Австралии действительно оказались месторождения золота, но сказочно разбогатели акционерные компании, а остальные пришельцы, захваченные золотой лихорадкой, растеклись из Виктории по другим «колониям». Многие из них не так легко простились с мечтой о внезапном обогащении, отказывались работать на рудниках акционерных компаний и упрямо искали золота повсюду, как искал и отец Генри. Ценой лишений и упорного труда кое-кому удавалось намывать немного золотого песка, но основная масса иммигрантов обратилась, в борьбе за хлеб насущный, к главному источнику существования австралийских поселенцев: к овцам.

Овцы, овцеводческие фермы, или, по-туземному, «станции» ещё задолго до рождения Генри Лаусона, являлись основным источником благосостояния Австралии. А Новый Южный Уэльс был важнейшей овцеводческой «колонией» среди шести австралийских «колоний», несколько напоминавших по своему государственному устройству штаты Северной Америки. Достаточно сказать, что в ту пору, когда Генри Лаусону было двадцать с лишним лет, на пастбищах Нового Южного Уэльса паслось пятьдесят шесть миллионов овец, в два с половиной раза больше, чем на пастбищах Куинсленда и в четыре раза больше, чем на лугах Виктории. И когда сыну Петера Ларсена, владельца совсем маленькой фермы, пришлось зарабатывать себе на хлеб на-

сущный, естественно, он обратился к основному промыслу своей родины. Он жил вдали от городов, вокруг его родной фермы простиралась на сотни километров «заросли» и пастбища, и, кочуя с одной фермы на другую, он познакомился с людьми и бытом бескрайней сельской Австралии не по рассказам очевидцев.

Жизнь молодого Генри была нелегка — читатель убедился в этом, когда Лаусон напечатал свои первые очерки; быть может, в городах по побережью или в Сиднее, столице Нового Южного Уэльса, молодой Лаусон был бы избавлен от многих лишений, связанных с жизнью в «зарослях» и с профессией сельскохозяйственного рабочего, но тогда его творчество стало бы менее своеобразным. Городская жизнь в Австралии мало чем отличается от городской жизни других заокеанских стран. Местный ее колорит слишком слаб и не характерен для самого «молодого» континента, который только за год до французской буржуазной революции принял первую партию европейских поселенцев. Та же Австралия, которая открылась жителю «зарослей» Генри Лаусону, «свегмену», переходившему с фермы на ферму с узлом за плечами, — в узле были его пожитки — не похожа на другие заокеанские страны, а тем менее — на европейские. Она похожа только на себя. Это — Австралия, такая, какой увидел её Генри Лаусон.

Он не увидел её счастливой, какой рекламировали её газеты и акционерные компании, он увидел жизнь в зарослях и на фермах очень трудной, и одного из участников своих рассказов он уполномочил подытожить его наблюдения. Некий старик, пассажир кареты, отправлявшейся в свой обычный рейс, размышляет о том «что же такое Австралия?» И даёт такой итог наблюдений Лаусона: «Большая, иссушенная, голодная, глухая страна с двумя-тремя крупными городами для удобства чужеземных дельцов и небольшой коллекцией городков также для удобства иностранных дельцов; страна, по преимуществу заселённая овцами, а частью дураками,

которые живут, как европейские рабы в городках и как дикие собаки в зарослях, и болтают о «демократии», хотя их хватает только на то, чтобы работать на нескольких хлыщей, развлекающихся большую часть времени в Париже».

Лаусон рано начал писать стихи и очерки. Он посылал их в городские газеты и журнальчики; по жизнь в городках или в тех двух-трёх больших городах — в Сиднее, Мельбурне или в Аделаиде, которые созданы были для удобства чужеземных дельцов по утверждению старика-пассажира, нимало его не привлекала. Не привлекала его, как журналиста и поэта, жизнь на угольных шахтах, протянувшихся по побережью его родной «колонии» — Нового Южного Уэльса, — на которых в начале девяностых годов горняки добывали больше трёх с половиной миллионов тонн угля. Его не притягивали золотые прииски, принадлежавшие крупным компаниям, и рабочие посёлки вокруг серебряных и медных месторождений, обогащавших всё тех же отечественных и чужеземных дельцов. Он оставался жителем «зарослей» и бытописателем скотоводческой страны с миллионами рогатого скота и десятками миллионов овец, бытописателем сельской Австралии, с бесчисленными «сараями», где десятки тысяч стригачей громоздили горы шерсти, самой высокой по качеству в мире. Эти горы австралийской шерсти обогащали всё тех же дельцов, современных Язонов, в самом деле нашедших на самом молодом континенте «золотое руно».

Ни клочка этого золотого руна не попадало бесчисленным стригачам и погонщикам скота, быт которых читатель узнал из рассказов и очерков Лаусона. Тяжкий труд в очередном «сараяе» или длительное путешествие со стадом до места назначения, а затем снова в путь пешком, с узлом за плечами и с фунтовой бумажкой в кармане, которая пропивалась в ближайших кабаках, — вот удел, который ждал свегменов Австралии, добывавших для «хлыщей» возможность развле-

жаться в Париже. Много таких свегменов, оставивших за океаном свой родной дом, встречал на своём пути Лаусон. Никто из них никогда не мечтал о родном доме. Почему? На этот вопрос грустно ответил один из его героев: «Мы слишком грязны и устали, как собаки, когда валимся на землю, и у нас мало времени, чтобы выспаться. Мы и не хотим видеть сны о родном доме — для нас это были бы кошмары и, проснувшись, мы вспоминали бы их. Здесь мы не должны вспоминать».

Быть может, свегмен, родившийся в стране золотого руна, позволял себе помечтать о своей семье, которая затерялась где-нибудь в глуши зарослей. Но только этим он и отличался от стригача или погонщика, приехавшего из-за океана. В остальном и главном — их удел был общий, очень печальный. Но не менее печальным был удел и владельцев микроскопических ферм, затерявшихся среди зарослей и пастбищ, — в этом убеждается читатель, знакомясь с сельской Австралией по Лаусону. «Женщине здесь не место», — говорит вместе с автором один из его героев-фермеров.

Увидел ли Лаусон в первые два десятилетия нашего века другую Австралию, не похожую на Австралию девяностых годов, когда он вынес свой приговор: «Женщине здесь не место»? Нет, не увидел и не внёс никаких исправлений в изображение страны золотого руна. В начале века некий критик, признавая Лаусона «по таланту и опыту выше всех писателей Австралии», упрекал его в «ошибке». «У Лаусона, — писал он, — мы находим одну ошибку, и в прозе и в стихах: он обнаруживает слишком мало готовности нарисовать для нас более счастливую жизнь в Австралии».

Виновник этой «ошибки» прожил с 1900 по 1903 год в Англии, и затем вернулся на родину. Ещё целых два десятилетия он отдал изображению своей страны, но попрежнему не обнаруживал готовности изобразить счастливую Австралию.

Но, тем не менее, эта книга, в которой переводчик

собрал характерные для Лаусона рассказы, не является ни трагической, ни мрачной. Чем это объяснить?

Лаусон, несмотря на свои как будто простые изобразительные средства,— настоящий художник и прежде всего потому, что в центре его внимания стоит человек. Не в счастливой Австралии живут все эти люди, которые встречались ему на жизненном пути,— мелкие овцеводы, погонщики скота, стригачи, старатели-фоссиеры, гуртовщики и бродяги, напоминающие американских «хобов». Но только художник может подойти к ним настолько вплотную, чтобы объяснить, почему многие из них ухищряются не быть безусловно несчастными. Только зоркий художник, чуткий к людям, найдёт в душе человека, которому живётся очень трудно, опору, позволяющую жить. Лаусон умеет находить эту опору. Вместе с ним и мы находим в участниках его рассказов крепкое и чистое чувство товарищеской солидарности, всегдашнюю готовность помочь человеку, попавшему в беду, простодушие, не прощающее корыстных ухищрений, снисходительность к чужим ошибкам, даже иронию и прежде всего — умение смеяться.

Если человек защищён от отчаяния этими качествами, он вынесет самую трудную жизнь, а книга о людях, в которых художник открыл эти качества, не оттолкнёт своей безысходностью.

Даже в тех рассказах, в которых сюжет разрешается трагической катастрофой, рядом с основной сюжетной линией читатель улавливает другую тему, и эта тема всегда вызывает у читателя эмоции, в которых нет места отчаянию. В «Истории Малаки» смерть чудаковатого героя вскрывает такие высокие его свойства, что воспринимается как возмездие всем тем, кто над ним потешался,— возмездие, которого они долго не забудут. Только жертвенной преданностью безумной жене искупает свою вину человек, который повинен в гибели своих детей. Смерть маленького Арви («Будильник Арви Эспинолла» и «Визит и соболезование») пробуждает в

мальчугане, его товарище, твердость, которая подстать только взрослому. Лишь в трёх рассказах трагизм не ослаблен звучанием параллельной темы — в рассказах «Товарищ отца», «Женщине здесь не место» и «Дочь фермера». Эти рассказы стоят особняком, в них Лаусон не захотел протянуть руку помощи читателю.

Но в другой группе рассказов он решительно отказался от трагических концовок. Пожалуй, это самые характерные для Лаусона рассказы. Драматические мотивы использованы Лаусоном и для некоторых из них, но герои их — именно они — ухитряются не быть несчастными в Австралии, которую Лаусон не пожелал изобразить счастливой страной.

Лаусон в этих рассказах с особой тщательностью развивает основную тему, позволяющую героям выносить тяготы жизни: тему людской солидарности, готовности помочь каждому, кто нуждается в помощи. Суровая жизнь не убивает в человеке этой готовности, а специфические условия жизни в Австралии нередко превращают её в высокое чувство долга. Обаятельна фигура стригача «Жирафа» («Шапка по кругу»), который доводит готовность помочь ближнему до самоотречения. В лаусоновской Австралии, когда человек нуждается в помощи, он может быть уверен, что любой незнакомец эту помощь ему окажет, как оказывает её свояченица Брайтена и мидлтоновский Питер (в рассказах под этими заглавиями) или обитатели бедной хижины в рассказе «Разыскиваются полицией». Долг товарищеской солидарности заставляет двух молодых погонщиков («Рассказать миссис Бекер») принять грех на душу, и этот же долг поднимает забулдыгу Мэркуарн («Этот мой пёс») на большую нравственную высоту. Многие участники этих рассказов умеют смеяться, юмор слегка проникает и в характеристики и в диалог, но только третью группу рассказов Лаусон строит на юмористических сюжетах.

И мы видим, что в Австралии Лаусона, где «нет места женщине», есть место юмору, который помогает про-

стодушным его героям выносить их жизнь, нередко почти непосильную. Такие рассказы, как «Стифнер и Джим (третий — Биль)», «Два вечерника», «Расквитались с Дэвом Ригеном», «Беседа у костра», «Стрелять в луну», дорисовывают портрет Лаусона как писателя. Рядом с «трагическим» Лаусоном вырастает Лаусон-юморист, не отступающий от лучших традиций английского юмора. Он сдержан и лаконичен, комические ситуации никогда не гиперболизируются, и юмор диалога не бывает вульгарен.

Сдержанность и лаконизм характерны не только для юмористических рассказов Лаусона. Драматические положения он развивает с такой же нарочитой скупостью изобразительных средств. Он никогда не позволяет себе выражать эмоции в комментариях. Эмоции спрятаны у него в подтекст, они вырастают у него между фраз даже в самых драматических его рассказах. В этой манере есть то же очарование, которое прельщает нас в некоторых современных англо-американских мастерах новеллы.

Австралийский классик Генри Лаусон, умерший в 1922 году, предвосхитил поэтику лучших англо-американских новеллистов, и историко-литературное значение его рассказов столь же бесспорно, как художественная и познавательная их ценность.

Евгений Лани

ШАПКА ПО КРУГУ

*Вот один из простых Законов Книги Джунглей
Этот закон должен быть ясен и для туниц:
Если в беде кто—шапку пусти по кругу,
Кто бы он ни был—преступник или джентльмен*

— Беды не будет, если я тебя разбужу?

Было часов девять утра, и, хотя утро воскресное, никакой беды не было в том, что я проснулся; но стригач принял меня за глухого джекера¹, почевавшего в бараке и походившего на меня лицом, и добродушно заорал во всю глотку, так что разбудил весь барак. Во всяком случае он разбудил трёх-четырёх, которые спали на кроватях и раскладных койках, и ещё одного, спавшего на тюфяке на полу в той же комнате. Ночь была дождливая, и барак битком набит стригачами, работавшими в сарае в Биг Биллабонг, где накануне закончилась стрижка овец. Мои товарищи по комнате до поздней ночи пили и играли в карты, а теперь нещадно ругали стригача, нарушившего их сон.

Ростом он был примерно шесть футов, три дюйма. Сложен нескладно, костлявый, цвет лица рыжеватый,

¹ Джекеру — новичок, а также переселенец, недавно прибывший в Австралию.

а глаза серые. Как убедился я впоследствии, он почти всегда добродушно ухмылялся; мне всегда нравился этот тип обитателя австралийских зарослей — казалось, чем выше они ростом, тем добродушнее, однако, кулаки у них крепкие, и они могут услужить человеку, который хочет подраться, или самым добродушным образом зададут трёпку грубияну. Такие люди любят нянчить чужих младенцев и колоть дрова, носить воду и оказывать мелкие услуги обременённым работой жёнам обитателей зарослей. На нём был костюм из седельной шерстяной материи на два номера меньше, чем нужно, и его лицо, шея и большущие костлявые руки были покрыты крупными и мелкими веснушками.

— Надеюсь, я тебя не потревожил,— закричал он, наклоняясь над моей койкой,— но есть тут один парень...

— Чего орёшь?— перебил я.— Я не глухой.

— Ох, прости, пожалуйста! — гаркнул он.— Я и не знал, что ору. Я тебя принял за того глухого.

— Ладно,— сказал я.— Что случилось?

— Переждём, пусть ребята перестанут ругаться, и тогда я тебе расскажу.

Он говорил, добродушно растягивая слова, слегка гнусавя, но и тон и протяжное произношение были явно австралийские — ничего общего не имевшие с говором американцев.

— Ох, да уж выкладывай, Христа ради, Верзила! — крикнул Одноглазый Боген, самый отчаянный ругатель в бараках, и повалился на свою койку, словно обессиленный предшествовавшими замечаниями.

— Есть тут один больной джекеру, который подбирал шерсть в Биг Биллабонге,— сказал Жираф.— В первую же неделю он выбыл из строя и с той поры лежит здесь. Его отправляют сегодня в Сидней, в больницу, специальным поездом. Сейчас его поло-

жат на тележку и повезут на станцию; вот я и подумал, что не худо было бы обойти всех с шапкой и собрать для него несколько бобов¹. В Сидесе у него жена и ребятишки.

— Вечно ты всех обходишь с твоей проклятой шапкой, — проворчал Боген. — Чорт тебя дерн, ты и в адупустишь её по кругу.

— Именно это он и делает сейчас, Боген, — пробормотал Бывший Джентльмен, лежавший па тюфяке лицом к стене.

Шапка была настоящая «капустная пальма»², одна из тех, что «служат всю жизнь». Она отличалась красивой окраской, собственно говоря стала почти чёрной от времени и непогоды, а вокруг тулы был новый ремешок. Я заглянул в неё и увидел грязную фуговую бумажку и немного серебра. Я бросил полкроны — больше, чем мог уделить, потому что был ещё новичком в Биг Биллабонге.

— Спасибо! — сказал он. — Теперь вы, ребята!

— Лучше бы ты носил шапку на голове, деньги в кармане, а доброту где-нибудь в другом месте, — проворчал Джек-Самогон, с трудом приподымаясь на локте и нащупывая под подушкой две полкроны.

— Вот тебе две половинки, — сказал он. — Получай и, ради бога, не мешай спать!

Бывший Джентльмен, игрок, перевалился на другой бок, повернув от стены своё красивое, беспутное лицо. Он лёг спать, не раздеваясь, и теперь с большим трудом засунул руку в карман слишком узких брюк. Он извлёк пачку банковых билетов в фунт стерлингов, но не мог найти серебра.

— На! — сказал он Жирафу. — Могу дать фунт. Уж так и быть, рискну. Получай.

¹ Б о б — шиллинг.

² Шляпа с низкой тульей излюбленного австралийскими бродягами фасона.

— Ты сегодня не в себе, Бывший Джендльмен,— пробурчал Боген.— Это тебе не чортовы скачки.

— Может быть, и не в себе,— сказал Бывший Джендльмен и снова повернулся к стене, подложив под голову руку.

— Ты бы тоже мог дать что-нибудь, Боген,— сказал Жираф.

— А что с ним такое, с этим... джекеру?— спросил Боген, вытягивая из-под матраса штаны. Самогои сказал что-то вполголоса.

— Ах, так его и этак! — сказал Боген.— Жаль беднягу! Ладно, даю полфунта!

И он бросил в шапку полсоверена¹.

Четвёртый, которого называли в глаза Барку-Рот, а за спиной «Подлец», пьянствовал всю ночь, и даже спогшибательные эпитеты Богена не могли его разбудить. Тогда Боген поднялся с кровати и, призвав всех нас («проклятое бабье стадо») в свидетели того, что он собирается сделать, перевернул пяшцу на спину и принялся обыскивать его карманы, пока не нашёл пять шиллингов (или «кезер» на языке обитателей зарослей) которые и бросил в шляпу.

А Барку-Рот, вероятно, и по сей день не ведаёт о том, что принял когда-то участие в добром деле.

Жираф приступил к глухому джекеру в смежной комнате. Я слышал, как ребята проклинали Верзилу за то, что он их разбудил, и Глухаря, которого сочли по началу виновником шума. Я слышал, как ругали Жирафа и его шляпу в других комнатах и осыпали руганью на веранде, где спало несколько стригачей; а потом я поднялся с кровати.

Жираф заботливо укладывал тюфяк и подушки в тележку, а затем вынесли человека, похожего на труп, и положили в двуколку.

¹ Соверен — золотая монета в фунт стерлингов.

Когда тронулась повозка, хозяин барака — толстый и бездушный на вид человек — сунул руку в карман и положил фунт стерлингов в шапку, продолжавшую путешествовать по кругу в руках приятеля Жирафа, маленького Тедди Томпсона, который был даже среднего роста ровно на столько, на сколько Жираф был выше.

Жираф взял лошадь под уздцы и повёл её по дороге к железнодорожной станции, выбирая самые ровные места, и ещё два-три парня пошли с ним, чтобы помочь ему усадить больного в поезд.

В этом округе сезон стрижки овец пришёл к концу, но я раздобыл малярную работу — это была моя профессия — в Большом Западном отеле (двухэтажном кирпичном доме) и задержался месяца на два в Бурке.

Жираф был уроженец Викторни, из Бендиго. Он был хорошо известен в Бурке и хорошо известен многим стригачам, которые стекались сюда за сотни миль из бескрайних выжженных солнцем зарослей. Ему поручали хранить ставки, когда бились об заклад, он был банкиром пьяниц, миротворцем, если представлялась такая возможность, третейским судьей или секундантом в угоду парням, завязавшим драку, он был старшим братом или дядей для большинства ребятнишек в городе, последней судебной инстанцией, когда дети во время школьного пижника затевали спор после бега на приз, судьей во время их драки и другом всех чужаков.

— Парень здешний может постоять за себя, — говаривал он. — Но мне всегда приятно услужить чужому человеку, попавшему в беду. Я сам был когда-то желторотым джеккеру, и я знаю, каково им приходится.

— Вечно ты хлопчешь о других. Жираф,— сказал Том Холл, секретарь союза стригачей, который был только дюйма на два шже ростом, чем Жираф,— Никакого толку от этого нет, можешь мне поверить,— кому знать, как не мне?

— А что прикажешь делать?— отозвался Жираф.— Я тут болтаюсь без дела, пока опять не начнётся стрижка, а должен же человек чем-нибудь заняться. Да к тому же у меня нет ни стариков, ни жены с ребятами, заботиться не о ком. Никаких обязанностей у меня нет. Человек не может жить без дела. И к тому же я люблю помочь, когда могу.

— Вот что я тебе скажу,— заявил Том, у которого почти всё жалованье уходило на ссуды примерно в фунт стерлингов.— Вот что я тебе скажу: никакой благодарности ты не дождёшься и в конце концов можешь преспокойно умереть с голоду.

— Этого я не боюсь, с голоду я не помру, пока у меня есть руки, а благодарность мне не нужна,— возразил Жираф.

Он всегда помогал кому-нибудь или чему-нибудь. То мы устраивали «танцульку» для девушек, то появлялась некая миссис Смит, муж которой утонул на рождестве в реке Боген во время наводнения, или какая-нибудь бедная женщина, жившая у Биллабонга — муж сбежал и оставил её с кучей ребят. Или какой-нибудь Билль, погонщик волов, попал в пьяном виде под свою же телегу и сломал себе ногу.

Одноглазый Боген закутил и к концу кутежа сорвался с цепи и побил почти все стекла в окнах «Герба носильщиков», а на следующее утро в полицейском суде на него наложили большой штраф. В обеденную пору я встретил Жирафа и его шляпу, в которой болтались для почища две полукроны.

— Прости, что беспокою тебя,— сказал он,— но Одноглазый Бюкен не может уплатить штраф, вот я и подумал, не уладим ли мы для него это дело. Он совсем не плохой парень, когда не пьёт. Худо бывает только, когда он хватит лишнего.

После стрижки шляпа обычно начинала путешествие по кругу с брошенной в тулью самим Жиравом грязной скомканной фунтовой бумажкой по случаю торжественных проводов; затем он бросал полсоверена и юпускался все ниже и ниже, до полукроны и шиллинга, по мере того, как иссякали у него деньги. А под конец он занимал «несколько бобов, только для почина»,— которые всегда возвращал после следующей стрижки.

Много рассказывали анекдотов о нём и его шляпе. Говорили, что шляпа принадлежала его отцу, на которого он походил во всех отношениях, и столько лет путешествовала она по кругу, что тулья стала тонкой, как бумага, протёртая квидами¹ и полуквидами, кезерами и полукезерами, бобами и шестипенсовиками, или спратами— не говоря уже о скрамах,— которые бросали в неё и перетряхивали.

Рассказывают, что когда новый губернатор посетил Бурк, Жирав случайно находился на платформе и, добродушно улыбаясь, стоял у выхода; местный подхалим энергично толкнул его локтем и сказал грозным шопотом:

— Сними шапку! Почему ты не снимаешь шапку?

— А зачем?— протяжно спросил Жирав.— Разве у него туго с деньгами?

Большим успехом пользуется такой рассказ: когда прошёл билль о жалованьи членам парламента или когда впервые пришла к власти рабочая партия,— не

¹ На австралийском жаргоне: квид — соверен, золотая монета в фунт стерлингов, скрам — пенни, другие объяснения в тексте.

помню, к какому событию приурочили этот анекдот — Жираф заразился общим энтузиазмом, влил в себя несколько стаканов пива, бросил в шапку фунт стерлингов и начал сбор. Ребята давали в силу привычки и давали, не скупясь, одушевлённые победой и пивом. А когда шапка вернулась к Жирафу, он застыл, держа её перед собой обеими руками и туло уставившись в неё. Потом его осенило.

— Ах, будь я проклят! Да ведь я устроил сбор в свою пользу! — воскликнул он.

Он был чуть ли не трезвенник, но ставил выпивку, соблюдая меру. Большею частью он пил имбирное пиво.

— Я не из пьющих, но и не осуждаю ребят, когда им хочется повеселиться, только бы не хватали через край.

Нередко бывало, что какой-нибудь закутивший парень говорил ему:

— Вот, возьми пять фунтов. Прибереги их для меня, Жираф, пока я гуляю.

Настоящее его имя было Боб Брасерс, а прозвища ему дали «Верзила», «Жираф», «Шапка по кругу», «Давай боб» и «Имбирное пиво».

Несколько лет назад в Бурковский округ импортировали верблюдов и погонщиков-афганцев; верблюды хорошо себя чувствовали в засушливой стране, пересекали её из юнца в копец, и на них перевозили всё, начиная с сардин и кончая половицами. А местные погонщики любили афганцев так же, как любят столяры Сиднея столяров-китайцев, дешёвые рабочие руки. Они любили их не меньше, чем баствующие стригачи, члены профессионального союза, любят австралийских негров, привезённых с севера на их место.

Жираф был честным, добросовестным членом союза, но в случае какой-нибудь болезни или несчастья он склонен был забывать о профессиональных сою-

зах, как забывают все жители джунглей¹ в любое время (и на долгие времена) о своей религии. И вот однажды вечером Жираф ввалился в «Герб носильщиков» — нечего сказать, выбрал место! — когда он был битком набит погонщиками. В руке у него была шапка, а в шапке мелкие серебряные и медные монеты.

— Послушайте, ребята, есть там, в лагере, бедный большой афганец...

Дюжий, мускулистый погонщик волов крепко взял его за плечи или, вернее, за локти и выставил за дверь, тем самым предотвратив кровопролитие. Жираф принял это добродушно, как принимал почти всё, но в сумерках видели, как он пробирался с котелком супа к лагерю афганцев.

— Я думаю, — заметил Том Холл, — когда Жираф попадёт на небо — а поскольку я могу судить, он единственный из всех нас, у кого есть хоть какие-то шансы, — так вот, когда он попадёт на небо, первым делом он обойдёт со своей чертовой шапкой всех ангелов — устроит сбор в пользу этого проклятого мира, который он покинул.

— В конце концов не думаю, чтобы это делало ему честь, — заявил стригач Джек Митчел. — Жираф, знаете ли, честолюбив; ему нравится общественная жизнь, и потому-то он лезет вперёд со своими сборами. Что касается возни с людьми, попавшими в беду, то это только из любопытства; он один из тех ребят, которые вечно суют нос в чужую беду. Ну а забота о больных... да ведь Жирафу больше всего на свете нравится топтаться вокруг больного, наблюдать за

¹ Австралийские заросли отличаются от джунглей в Индии и в Южной Америке, но нередко они так же непроходимы, и мы ввели, по контексту, в перевод слово «джунгли», с которым связано определённое представление; в тексте мы находим два понятия bush и scrub, которые чередуются, и мы также чередуем «заросли» и «джунгли».

ним, изучать его. Он ужасно интересуется больными, а здесь их не очень-то много. Говорю вам, это ему нравится больше всего на свете — за исключением, может быть, суеты вокруг покойника. Я думаю, он готов проехать сорок миль, чтобы помочь и выразить сочувствие и покрутиться на похоронах. Суть дела в том, что Жираф попросту наслаждается чужими бедами — вот и всё. Это просто-напросто любопытство и эгоизм. Я это приписываю его невежеству, таким его воспитали.

Всем было известно, что я состою сотрудником сиднейского «Бюллетеня» и некоторых других газет. У Жирафа шишка благоговейного уважения была очень велика, и особенно сильно она распухала, когда дело касалось больных и поэтов. Он относился ко мне с таким почтением, какого обитатель джунглей обычно не оказывает человеку, и, как чудилось мне иногда, с какою-то особой странной деликатностью. Но однажды он меня удивил.

— Прости, что побеспокоил тебя, — начал он с пристыженным видом. — Я не знаю, интересуешься ли ты спортом, но Одноглазый Боген и Барку-Рот устраивают потасовку на берегу Биллибонга как раз сегодня вечером...

— Что они устраивают? — переспросил я.

— Маленькую драку до решительной победы, — сконфуженно пояснил он. — А чтобы расшевелить ребят, наши парни стараются собрать пятёрку на приз. Одноглазый Боген и Барку-Рот обозлились друг на друга, дурная кровь играет, и нехудо было бы её выпустить.

Помню, славный был бой. Не меньше сорока пропитанных кровью носовых платков (или «утиралок») зарыли в яму на поле боя, и весь вечер Жираф помогал накладывать заплаты на дуэлянтов. Позднее он

устроил маленький сбор в пользу побеждённого — им оказался Барку-Рот, несмотря на имевшееся у него преимущество в виде второго глаза.

Девушка из Армии спасения, распространявшая «Боевой клич», почти всегда продавала Жирафу три экземпляра.

Новый священник, который собирал по подписке на постройку церкви или перестройку, или что-то в этом роде, искал поддержки у Жирафа, имевшего влияние на своих товарищей.

— Ну, что ж, — сказал Жираф, — я-то сам в церковь не хожу. Меня не назовёшь религиозным парнем, но я охотно сделаю для вас, что могу. Только вряд ли от меня будет толк. Я сьзмальства не бывал в церкви.

Священник был шокирован, но впоследствии он научился ценить Жирафа и его товарищей и полюбил Австралию ради австралийцев. От него-то я и узнал об этом эпизоде.

Жираф помогал ставить палатки для католического церковного базара, и ребята начали высмеивать его в конторе союза.

— В следующий раз ты устроишь сбор в пользу китайской церкви в ихнем лагере, — сказал в заключение Том Холл.

— Да ведь я ничего не имею против римских католиков, — отозвался Жираф. — И отец О'Донован парень честный. Как бы там ни было, а во время забастовки он горой стоял за профсоюзы. («На то он и ирландец», — вставил кто-то.) Мне случилось таскаться полгода с мешком за плечами с одним парнем, который был католиком, и он оказался порядочным человеком. И одна моя знакомая девушка перешла в католичество, чтобы выйти замуж за молодчика, который довёл её до беды, но для меня она осталась такою же, как была. А кроме того, я люблю помочь, когда затевается такое дело.

Он был очень наивен и очень забавен, в особенности когда старался быть особенно серьёзным и философически настроенным.

— Среди здешних девушек попадаются настоящие сорванцы,— глубокомысленно заявил он мне однажды.— Бывают слишком уж дерзкие. Помню, остановился я в одном доме, у каких-то моих родственников, и меня положили спать в комнате, выходящей на веранду, а дверь была стеклянная и ничем не завешена. И вот в первое же утро девушки — они мне приходились какими-то кузинами — начали хихикать и дурачиться на веранде перед моей дверью и продержали меня в постели почти что до десяти часов. В конце концов пришлось мне натягивать штаны под одеялом. Но потом я им натянул нос,— задумчиво добавил он.

— Как же ты это сделал, Боб?— спросил я.

— Да я лёг спать в штанах!

Однажды я стоял на помосте и красил потолок в баре «Большого Западного отеля». Мне хотелось поскорей окончить работу. Почти весь день мешали работать ребята, подававшие мне на помост кружки пива и обращавшие моё внимание на установленный ими факт, будто я кладу краску наизнанку. Я докрашивал последние доски, как вдруг...

— Прости, пожалуйста, что я тебя беспокою. Так уж выходит, что я всегда тебя беспокою, но есть тут одна женщина и девушки...

Я посмотрел вниз — едва ли не в первый раз я смотрел на него сверху вниз,— и там стоял Жираф, а на помосте лежала его перевернутая шапка с двумя полукронами.

— Ладно, Боб,— сказал я, и бросил полкроны.

В баре толпились стригачи, и вскоре завязалась перепалка. Выяснилось, что «эта женщина и де-

вушки» приехали из Сиднея к концу сезона стрижки и сняли котэдж в предместье города у опушки джунглей. Неприятности начались на этой неделе по случаю драки, происшедшей в их заведении: на них наложили штраф, полиция сделала им предупреждение, а хозяин выгнал из дома.

— Это называется хватать через край, Жираф,— сказал один из стригачей.— Эти девки выудили у нас немало. Можешь не беспокоиться, денег у них уйма. Пусть убираются к... Провалиться мне на этом месте, если я дам хоть спрат!¹

— Им не на что купить билеты в Сидней,— сказал Жираф.— Вдобавок маленькая девица больна, а у двух других ребяткишки в Сиднее.

— Да ты-то, такой сякой, откуда знаешь?

— Ну, как же! Одна из них пришла и рассказала мне всё.

Поневоле все заржали.

— Слушай, Боб,— мягко сказал Библи Вудс, секретарь чернорабочих,— брось ты валять дурака! Ребята над тобой потешаются. Просто-напросто эти девицы хотят вытянуть из тебя деньги. Должно быть, одна из них пришла к тебе, скулила и хныкала. Можешь о них не беспокоиться. Ты их не знаешь: им ничего не стоит пустить слезу. Мало ещё ты имел дела с женщинами, Боб.

— Она не скулила и не хныкала,— возразил Жираф, перестав растягивать слова и гнусавить.— Она смотрела прямо в глаза и рассказала мне всё.

— Что ты там натворил, Жираф?— сказал Фокусник.— Должно быть, ты там задолжал. Ты меня удивляешь, Жираф.

— И прикидывается, дьявол, таким нежным и невинным! — проворчал Бобсн.— Нам всё о тебе известно, Жираф.

¹ С п р а т — шестипенсовик,

— Послушай, Жираф.— сказал стригач Митчел,— вот уж никогда бы я этого о тебе не подумал. Мы все считали тебя единственным девственником к западу от реки. Я был уверен, что ты — высоко нравственный молодой человек. Не воображай, пожалуйста, что если тебя грызёт совесть, то и всех она должна грызть.

— У меня с ними никаких дел не было,— заявил Жираф, снова растягивая слова.— Я такими вещами не занимаюсь. А вот другие ребята занимаются, и, по-моему, было бы не худо, если бы они помогли этим девушкам выпутаться из беды.

— Дрянные девки! — сказал Билли Вудс.— Ты их не знаешь, Боб. Брось ты о них беспокоиться — они этого не стоят. Спрячь деньги в карман! Ты им найдёшь лучшее употребление ещё до следующей стрижки.

— Поставь-ка лучше выпивку, Жираф,— посоветовал Фокусник.

Но, несмотря на мягкосердечие Жирафа, отговорить его от принятого решения было труднее, чем кого бы то ни было в Бурке, если он считал своё решение «справедливым делом». Другая его особенность выражалась в том, что в иных случаях, например, если нужно было «сказать словечко» на митинге забастовщиков, он подтягивался, переставал гнусавить и, если можно так выразиться, подстёгивал свою речь.

— Слушайте, ребята,— заговорил он теперь,— об этих женщинах я ничего не знаю. Вероятно, они плохие женщины, но не думаю, чтобы они были хуже того, чем их сделали мужчины. Я знаю только одно: этих четырёх женщин выставили из дома, денег у них нет, и любая женщина в Бурке, и полиция, и закон — все против них. А хуже всего для них то, что они женщины. Вы же не думаете, что они могут тащиться со своими узлами пешком в Сидней!

Да будь у меня деньги, я бы не стал вас беспокоить. Я бы сам заплатил за проезд. Смотрите! — добавил он, понизив голос. — Вон они стоят, и одна из девушек плачет. Только бы они не заметили, что вы смотрите.

Я потихоньку спрыгнул с помоста и тоже выглянул за дверь.

Они стояли у изгороди на другой стороне улицы, ведущей к железнодорожной станции. Одна девушка облокотилась на верхнюю перекладину изгороди и закрыла лицо руками, другая старалась её утешить. Третья девушка и женщина стояли, повернувшись в нашу сторону. Женщина была красива, у неё было суровое лицо, но, может быть, таким сделала его жизнь. У третьей девушки вид был вызывающий, и в то же время казалось, что она вот-вот расплачется. Она подошла к девушке, плакавшей у изгороди, и обняла её за плечи. Женщина повернулась к нам спиной и стала смотреть вдаль, за огороженный загон.

Шапка пошла по кругу. Первым дал Билли Вудс, потом Фокусник, а затем Митчел.

Билли выложил деньги, храня красноречивое молчанье.

Я ведь только пошутил, Жираф, — сказал Фокусник, извлекая из кармана последние два шиллинга.

Прошло немало времени после стрижки, и ребята были не при деньгах.

— Ну, что ж! — вздохнул Митчелл, — ничего не поделаешь. Вот если бы Жираф устроил сбор, чтобы импортировали в эту забытую богом дыру каких-нибудь порядочных девиц, в этом был бы какой-то смысл... И без того уж скверно, что Жираф подкапывается под наши религиозные предрассудки и искушает нас, разжигая нездоровый интерес к большим китайцам, афганцам, черноногим и вдовам. Но когда он впутывает нас в историю с такими девицами, пора нам восстать.

И он исследовал свои карманы и вытащил два шиллинга, несколько пенсов и щепотку табачной пыли.

— Я не прочь помочь девушкам, но будь я проклят, если дам хоть пепси этой старой...— сказал Том Холл.

— Да ведь она тоже была когда-то девушкой,— протянул Жираф.

Жираф обошёл и другие трактиры и профсоюзные конторы и по возвращении был как будто доволен сбором, но озабочен чем-то другим.

— Не знаю, как устроить их на ночь,— сказал он.— Ни в одном трактире, ни в одном пансионе о них и слышать не хотят, и нет ни одного пустого дома, а все женщины вооружены против них.

— Не все!— сказала Элис, рослая красивая буфетчица из Сиднея.— Идите сюда, Боб.

Она дала Жирафу полсоверена и подарила ему такой взгляд, что кое-кто из нас заплатил бы ему за этот взгляд десять фунтов—если бы мы были при деньгах, а взгляды можно было продавать и покупать.

— Подождите минутку, Боб,— сказала она и пошла переговорить с хозяином гостиницы.

— Там, при складе, есть свободная комната,— объявила она, вернувшись к нам.— Они могут занять её на ночь, если будут вести себя прилично. Скажите им, Боб.

— Благодарю вас, Элис,— сказал Жираф.

На следующий день, после работы, под вечер, когда спала жара, мы сошлись с Жирафом у реки и уселись на крутой, иссушенной солнцем насыпи.

— Я слышал, что ты проводил сегодня утром своих подруг, Боб,— сказал я— и пожалел о своих словах, прежде чем он успел ответить.

— Все они мне не подруги,— сказал он.— Четыре жалких женщины, и все тут. Я подумал, что

не очешь-то им будет приятно стоять и ждать в толпе на платформе. Вот я и предложил купить им билеты и сказал, чтобы они ждали за вокзалом. И как думаешь, что они сделали, Гарри?— продолжал он, с самой дурацкой усмешкой.— Им взбрело в голову поцеловать меня.

— Да неужели?

— Да. Они бы и поцеловали меня, не будь я таким долговязым. Будь я проклят, если они не принялись целовать руки.

— Да что ты говоришь?

— Ей-богу! А после этого мне почему-то вдруг не захотелось выйти с ними на платформу. К тому же они плакали, а я видеть не могу, когда женщины плачут. Но ребята усадили их в пустой вагон.

Он призадумался, потом мечтательно произнёс:

— Чертовски добрые есть люди на свете.

Я тоже так думал.

— Боб, — сказал я, — ты холостяк. Почему бы тебе не жениться, не обзавестись семьёй?

— Что правда, то правда, жены у меня нет, и ребятшек нет,— отозвался он,— но это не моя вина.

Может быть, он и прав был, говоря, что жены у него нет не по его вине. Но я вспомнил о том, какой взгляд подарила ему Элис, и...

— Я как будто и нравлюсь девушкам,— сказал он,— но дальше этого дело не идёт. Беда в том, что я такой долговязый, а меня всё как будто тянет к маленьким девушкам. Вот, например, в Бендиго была одна маленькая девушка, которая мне не на шутку приглянулась.

— А она тебя не захотела?

— Да, похоже на то.

— А ты её спросил?

— Ну да, спросил напрямик.

— Что же она сказала?

— Смешно, говорит, было бы смотреть, как она трусит рядом с такой дымовой трубой, как я.

— Может быть, это она не всерьёз. Много есть маленьких женщин, которым нравятся рослые мужчины.

— Я и сам так подумал, но это было позже. Может быть, она это не всерьёз сказала. Мне кажется, дело было в том, что у неё сердце ко мне не лежало, и она хотела отвадить меня полегоньку. Понимаешь ли, ей не хотелось меня обижать, она очень добрая девочка. Там, откуда я родом, встречаются ужас до чего высокие парни, и я знаю двоих, которые женились на маленьких девушках.

Повидимому, он был безнадёжен.

— Иной раз,— сказал он,— иной раз мне хочется не быть таким чертовски длинным.

— Взять к примеру этого глухого джекера,— задумчиво продолжал он.— У него, так же как у меня, не ладится с девушками. Он слишком глухой, а я слишком долговязый.

— Откуда ты это взял?— спросил я.— Насколько мне известно, у него три девушки, а что касается глухоты, то он первый болтун в городе, и о том, что тут делается, ему известно больше, чем матушке Бридл, старой прачке.

— Вот так штука!— медленно произнёс Жираф.— Ну кто бы это подумал? Мне он не занкнлся ни разу, что у него три девушки, ну а насчёт новостей, так это я ему всегда рассказываю, думал, что иначе он много не дослышит. По его словам, вся беда его в том, что куда бы он ни пошёл погулять с какой-нибудь девушкой, люди слышат, о чём они между собой разговаривают,— во всяком случае слышат, что она ему говорит, и делают свои заключения. Он мне рассказывал, что гулял вечером с одной девушкой, а ребята их выследили, слышали, как она ему сказала: «не надо», и пустили слух по всему городу.

— А почему она сказала ему: «не надо»?—спросил я.

— Этого он мне не объяснил, но, наверняка, он её поцеловал, или обнял, или что-нибудь в этом роде.

— Боб,— помолчав, сказал я,— а ты не попробовал ещё разок попытать счастья с этой маленькой девушкой в Бендиго?

— Нет,— ответил он.— Что толку? Она славная девочка, и мне не хотелось надоедать ей. Я не таковский, чтобы лезть, когда в тебе не нуждаются. Но после того как она намекнула, я почему-то не мог оставаться в Бендиго. Вот я и решил перебраться в эти края и поболтаться год, другой.

— И ты ни разу ей не написал?

— Нет. Какой смысл приставать к ней с письмами? Я по себе знаю, сколько бывает хлопот, когда надо отвечать на письмо. Ей пришлось бы написать в письме чистую правду, а мне от этого не стало бы легче. Но теперь я почти что справился с собой.

Спустя несколько дней я поехал в Сидней. Последний, кому я пожал руку из окна вагона, был Жираф, который сунул мне что-то завернутое в кусок газеты.

— Надеюсь, ты не обидишься,— сказал он, растягивая слова.— Ребята думали, что, может быть, ты не при деньгах— очень уж ты часто ставил выпивку, так вот они и собрали один-два соверена. Чтобы было у тебя на что погулять в Сиднее.

Я вернулся в Бурк до начала следующей стрижки. В первый же вечер я случайно столкнулся с Жирафом. Он показался мне странно озабоченным, но шапка была у него на голове.

— Не пройдёшься ли ты со мной до Биллабонга?— спросил он.— Мне бы хотелось рассказать тебе кое о чём.

Его большие, коричневые загорелые руки дрожали, когда он вынул из кармана письмо и развернул его.

— Я только что получил письмо,— сказал он.— Письмо от той маленькой девушки из Бендига. Всё это оказалось ошибкой. Мне бы хотелось, чтобы ты прочёл его. Я чувствую, что мне нужно потолковать с человеком, и лучше я поговорю с тобой, чем с кем-нибудь другим.

Это было хорошее письмо — письмо маленькой девушки с большим сердцем. Все эти месяцы она надрывала себе сердце из-за этого большого осла. Оказывается, он уехал из Бурка, не попрощавшись с ней.

— Почему-то у меня сил на это нехватило,— сказал он, когда я напустился на него.

Только неделю назад она раздобыла его адрес; она узнала его от одного человека из Бурка, поехавшего на юг. Она называла его «ужасным долговязым болваном», каковым он был вне всяких сомнений, и умоляла его написать и приехать к ней.

— Ты поедешь, Боб?— спросил я.

— Ей-богу, я бы завтра же сел в поезд, вот только денег у меня нет. Но я получил работу в сарае Биг Биллабонга и скоро сколочу несколько соверенов. Я поеду, как только кончится стрижка. Сегодня же я ей напишу.

В тот сезон Жираф был рекордсменом в сарае Биг Биллабонга. В среднем у него набиралось сто двадцать бирок в день. Один только раз за время стрижки он устроил шапочный сбор, и было замечено, что сначала он колебался, а потом внёс только полкроны. Правда, деньги собирали для человека,

которого полиция задержала в сарае для стрижки ва то, что он бросил свою жену.

— Это всегда так бывает,— заметил Митчел.— Эти мягкосердечные отзывчивые парни всегда кончают тем, что становятся ужасными эгоистами. Та-кими их делает жизнь. Рано или поздно их оселяет мысль, что они были мягкосердечными дураками, и они раскаиваются. Похоже на то, что к концу жизни Жираф делается первым скаредой.

Когда в Биг Биллабонге закончилась стрижка и мы с нашими запыхлёнными узлами и грязными чеками вернулись в Бурк, я поговорил с Томом Холлом.

— Слушай, Том,— сказал я,— с той поры, как этот долговязый дурень Жираф приехал сюда, он надрывает себе сердце из-за маленькой девушки в Бендиго, а она надрывала себе сердце из-за него, и этот осёл ничего не понимал, пока не получил от неё письмо как раз перед началом работы в Биг Биллабонге. Завтра утром он уезжает.

В тот вечер Том украл шапку Жирафа.

— Я думаю, к утру она найдётся,— сказал Жи-раф.— На шутку я не обижаюсь,— добавил он,— но всё-таки ребята как будто хватили через край: за-грабастали шапку, когда парень, может быть, уедет завтра навсегда.

Для почина Митчел бросил соверен.

— Стоит того,— сказал он,— зато мы от него отделаемся. Наконец-то вздохнём свободно. Когда уедет Жираф, а с ним и его проклятая шапка, мень-ше будет всяких несчастных случаев и попавших в беду женщин. Как бы там ни было, а здесь, в го-роде, он словно бельмо на глазу, да и мне он дей-ствует на нервы.. Эй, вы, грешники! Выкладывайте деньги! Принимаем только соверены и полусоверены.

На рассвете следующего дня Том Холл прокрался в комнату Жирафа в «Гербе носильщиков». Жираф

мирно спал. Том положил шапку подле него на стул. Сбор оказался рекордным: кроме пачки денег, в тулье шляпы была трубка в серебряной оправе с футляром — самая лучшая, какую можно было купить в Бурке, — золотая брошка и несколько безделушек, не считая безобразной открытки, изображавшей мужчину в блузе, прогуливающегося по комнате с двумя близнецами на руках.

Том хотел было потрясти Жиrafa за плечо, как вдруг заметил огромную ступню и с пол-ярда ширококостной голени, торчавшие с кровати. Соблазн был слишком велик. Том взял волосную щётку, ловко ударил тыльной её стороной по тому месту, где пюготь на большом пальце врос в тело, и улизнул.

Сначала мы слышали добродушную ругань Жиrafa, а затем наступило красноречивое молчание. По нашим предположениям, он усталился на свою шапку.

Все мы пришли на станцию провожать его. Ждать пришлось довольно долго. Жиrafa утащил меня на другой конец платформы.

Он как будто не мог совладать с собой.

— Здесь... здесь... на этом свете попадают ужас до чего хорошие люди, — сказал он. — Не забудь о них, Гарри, когда создашь себе имя своими писаниями. Я... да, черт меня подери, похоже на то, что я вот-вот разревусь!

Я был рад, что этого не случилось. Ревущий Жиrafa являл бы собою потрясающее зрелище. Я повёл его назад, к друзьям.

— Вы меня не поцелуете, Боб? — спросила рослая красивая буфетчица из «Большого Западного отеля», когда раздался звонок.

— Ну, что ж, я не прочь поцеловать вас, Элис, — сказал он, вытирая губы. — Но я, знаете ли, собираюсь жениться.

И он поцеловал её прямо в губы.

— Нет ничего лучше, как заранее поупражняться, — сказал он, ухмыляясь всем вокруг.

Мы нашли, что он делает изумительные успехи. Но в последний момент что-то нарушило его спокойствие.

— Послушайте, ребята... — перешительно начал он, засунув руку в карман. — Право не знаю, куда мне девать все эти деньги. Есть тут одна бедная прачка, она обварила себе ноги, когда снимала с огня котёл с бельём...

Мы впихнули его в вагон. Он высунулся из окна — примерно до пояса — и неистово размахивал шапкой, пока поезд не скрылся в зарослях.

И вот, когда я сижу и пишу при свете лампы в полдень, в центре великого города, где царит мелкое социальное лицемерие, безнадежная убогая нищета, невежественный эгоизм — эгоизм варварский и культурный — и где на благородные и героические усилия смотрят хмуро или с равнодушным пренебрежением, я почти вижу, как врывается в комнату солнечный свет, а над моим стулом склоняется долговязая фигура и...

— Прости, что побеспокоил тебя. Всегда я тебя беспокою... Но есть тут одна бедная женщина... И мне хочется увековечить его память!

ДВА ВЕЧЕРИЩА

В Австралии овцеводческие станции находятся одна от другой на расстоянии от двадцати до ста миль. В любом сарае¹ стрижка продолжается всего

¹ Сарай — в Австралии помещение для стрижки овец.

несколько недель в году; количество работников колеблется в зависимости от величины сарая — от трех-пяти человек в маленьком крытом ветками сарайчике мелкого «жакаду»¹ до ста пятидесяти — двухсот человек в большом сарае из гофрированного железа, принадлежащем овцеводческой компании.

В Северном Куинсленде сезон стрижки начинается рано, там вы можете получить работу в «январском» сарае, а подвигаясь дальше на юг, в «февральском», «мартовском», «апрельском» и так далее, пока не доберётесь до Нью Саут Уэлса, где стрижка часто затягивается до рождества и начала января. Стригачи перебираются от одного сарая к другому. Иные путешествуют в течение всего сезона стрижки, нигде не находя работы, а какому-нибудь злополучному стригачу случается ездить или бродить в течение нескольких сезонов и ни разу не коснуться руками шерсти. Этим-то и объясняется существование «пешехода» с его узлом и всадника с выючной лошадью. Тяжёлая у них жизнь, и австралийские стригачи, несомненно, являются самыми демократическими и, пожалуй, самыми независимыми, сметливыми и щедрыми рабочими мира.

Стригачи, работающие в одном сарае, выбирают своего повара, платят ему столько-то с души и закупают провизию оптом в станционной лавке, а «путешественников», то есть стригачей и бродяг, странствующих в поисках работы, неизменно приглашают к столу. И почти во всех станционных лавках Западной Австралии до сей поры бесплатно отпускают путешественникам определенную порцию чаю, сахару, муки или мяса. Вот почему было бы удивительно, если бы иные бродяги не путешествовали с единственной целью поживиться. Свежеспи-ло-

¹ Как а д у — презрительная кличка, данная владельцами крупных овцеводческих станций мелким овцеводам.

дырь¹, или «буммер», норовит, особенно в плохую погоду, добраться до сарая к вечеру, примерно к заходу солнца; тогда он может быть уверен в том, что получит «чай», уют на ночь, завтрак, да ещё повар даст ему на дорогу провизии.

Такими вечерниками были Свемпи и Брумми.

Свемпи был прирождённым буммером — и гордился этим. Брумми опустился до бродяжничества, и натура у него была разочарованная, а дух озлоблен против мира, ибо Брумми помнил о ранних годах, потраченных на тяжёлый труд и старания быть честным. Оба были приземисты и коренасты, у обоих были щетинистые бороды, но у Брумми пыльно-чёрная, а у Свемпи огненно-рыжая; иногда Свемпи выбривал подбородок, но обычно нижняя часть его лица походила на покрытый живью́м участок, ороженный чахлой живой изгородью.

Они давно уже путешествовали вместе. Иногда они как будто начинали ненавидеть друг друга лютой ненавистью, но были слишком ленивы, чтобы драться. Случалось, они брели бок о бок и целый час ворчали друг на друга. По временам они дулись в течение нескольких дней; один упрямо шагал вперёд, а другой отставал на добрую милю, но кто-нибудь из них нес котелок или сахар, или что-нибудь насущно необходимое для другого, и к вечеру они опять сходились.

Они давно путешествовали вместе и потому-то, может быть, и ненавидели друг друга. Они часто решали расстаться и каждому идти своей дорогой, и иногда расставались — непадолго. Они договаривались, кто пойдёт попрошайничать, и попрошайничали по очереди. Они носили с собой целый набор

¹ Свемпи — бродячий сельскохозяйственный рабочий, путешествующий с узлом за плечами; в узле его пожитки.

запасных мешков для провизии, и если, например, кончался сахар, но оставалось ещё много муки и чаю, Брумми или Свемпи направляются к лавке, к хижине объездчика или фермера, держа в руках мешок из-под сахара, а остальные мешки были спрятаны за пазухой — на всякий случай. Сначала он получал сахар, и затем, если была надежда на поживу, извлекался мешок для муки и, наконец, мешок для чая. А перед уходом упоминалось вскользь, что он и товарищ его два дня не курили.

Они никогда не упускали удобного случая. Если удавалось им выпросить припасов больше, чем они могли без особого труда тащить на себе, они делали привал на день-два и поедали все. Иногда у них набиралось до фунта табаку — маленькими «позанимываемыми» кусочками, отрезанными от плиток честных путешественников. Они никогда не упускали удобного случая. Если путешественник протягивал Свемпи свою плитку табаку, разрешая «взять на одну трубку», Свемпи отрезал столько, сколько считал возможным, всё время разговаривал с путником, засматривая ему в глаза и зажимая табак в руке. Иной раз, зная, что отхватил больше, чем можно пабить в трубку, он лез за трубкой в карман и оставлял там немюжко табаку. Затем он протягивал плитку своему товарищу, снова занимал путешественника разговором и отвлекал его внимание от Брумми, чтобы дать тому возможность отхватить на две трубки и, пожалуй, отщипнуть ещё уголок плитки и сунуть в карман. Я слышал, как один из обитателей австралийских зарослей говорил, что только подлец пойдёт на такой трюк с табаком, и это, мол, самый гнусный обман, на какой способен человек, потому что таким своим поступком он вредит следующему оставшемуся без курева бродяге, который попросит табаку у жертвы.

Когда Брумми и Свемпи добирались до сарая в

самую горячую пору стрижки, они осведомлялись первым делом и с хорошо разыгранным беспокойством, есть ли шансы получить работу. Если свободных мест не было, они ругали тяжёлые времена, выражали недоумение, куда же это катится страна, говорили о жене и ребятишках, оставшихся в Сиднее, проклинали скваттеров¹ и правительство, а утром получали запас провизии от повара и с мрачным видом уходили. Если же в сарае находилось место для одного или для обоих и босс² приказывал им выйти утром на работу, они старались скрыть это от повара и спешили улечься после завтрака.

В начале засухи, когда высокая сухая трава воспламенялась, как трут, и от небрежно брошенной спички пожар мог распространиться на сотни миль, Свемпи хладнокровно подходил к суровому скваттеру, управляющему или надсмотрщику, и разговор носил такой характер:

Свемпи. Добрый день, босс.

Босс (лаконически)... день.

Свемпи. Не найдётся ли работы?

Босс. Нет. Набрал, сколько мне нужно, а начнём не раньше, чем через две недели.

Свемпи. Не дадите ли кусок мяса?

Босс. Нет! До субботы не будем резать.

Свемпи. Пшиту муки?

Босс. Нет. У самих в обрез.

Свемпи. Немножко чаю или сахару, босс?

Босс. Нет. Ещё чего?

Свемпи. Немножко табачку, босс. Неделю без курева.

Босс. Нет. Не знаю сам, как дотяну, пока подъедет подвода.

¹ Скваттеры — владельцы крупных овцеводческих «станций» (ферм).

² Босс — хозяин.

Свемпи. Ну, что ж, ничего не поделаешь. Жара какая стоит, верно, босс?

Босс. Да... жарко.

Свемпи. Трава высохла?

Босс. Да, похоже на то.

Свемпи. Скверное было б дело, если бы сейчас пожар?

Босс. Э?

Свемпи. Да. В дороге я всегда очень осторожен со спичками и с костром.

Босс. Да?

Свемпи. Да. Я никогда не разложу костра близко от травы — всегда посреди дороги — это самое безопасное место. И я всегда заливаю костёр прежде, чем уйти. Если нет лишней воды, я засыпаю золу песком. А иные ребята так неосторожны со спичками, когда раскуривают трубку. (Задумчивая пауза.)

Босс. Разве?

Свемпи. Да. А вот, что до меня, то если я раскуриваю трубку в засуху, то всегда чиркаю спичкой, держа ее головкой вверх, а потом бросаю в пыль. Никогда я не брошу горячей спички. А бывают такие неосторожные парни: раскурит паренёк трубку, а спичку бросит, куда попало, а она может упасть в сухую траву и — пожалуйста! (Он разводит руками.) Трава сожжена на сотни миль, тысячи овец подыхают с голоду. Такие неосторожные ребята... ни о чём не думают... А главное, им наплевать, если они спалят всю страну.

Босс (задумчиво почёсывая голову). Э... гм... Можешь зайти в лавку и получить немного провизии. Пожалуй, кладовщик даст тебе и курева.

Однажды, когда у них вышли мука и мясо, Брумпи и Свемпи встретили двух таких же пилигримов, сделавших привал на берегу речки. Они также остались без мяса и муки. Один из них уже побывал в

лагере надсмотрщиков, находившемся ниже по течению, но успеха не имел. Повар сказал, что у него самого муки и мяса в обрез. Брумми тоже сделал попытку — не повезло. Тогда Свемпи заявил, что пойдёт он.

Судьбе угодно было, чтобы повар надсмотрщиков как раз затеял печь хлеб. Он насыпал муки в таз, подсыпал соли и порошок для выпечки, перемешал это всё и пошёл с котелком за водой к речке. В это время появился Свемпи. Пока повар отсутствовал, Свемпи пересыпал муку из таза в свой мешок, вытер таз, поставил его на место, а мешок спрятал неподалеку за дерево. Затем он стал ждать, держа в руке запасный пустой мешок. Повар вернулся, посмотрел на таз, медленно поставил котелок с водой на землю, почесал в затылке и снова с растерянным видом посмотрел на таз.

— Чорт подери! А я-то думал, что насыпал муки! — сказал он.

— Что случилось, приятель? — спросил Свемпи.

— Я бы мог поклясться, что насыпал муки в таз, перемешал её, а потом уже пошёл за водой, — объяснил повар, тараща глаза на таз. — Чудно, какие штуки выкидывает иной раз память!

— Да, странная история, — сказал Свемпи, прикидываясь заинтересованным; повар тем временем принёс мешок из палатки и снова насыпал муки. — Со мной случалось то же самое. Должно быть, это мы от жары немножко одурели.

— Стало быть, ты тоже из поваров? — спросил повар надсмотрщиков.

— Ну, да! Я на своём веку немало стряпал, но теперь с этим покончено. Теперь я спояю отставших. (Отставшие — отбившиеся от стада овцы, которых не досчитываются при общей проверке, а затем находят где-нибудь в дальних загонах; их стригут после генеральной стрижки.)

Они побеседовали, и Свемпи, «куснув повара за ухо», получил «пемпожко мяса, чаю и сахару», не забыв упомянуть о «горсточке муки, если можешь уделить».

— К сожалению, я не могу дать тебе больше пищи,— сказал повар.— Нам самим пехватит.

— Ладно! — сказал Свемпи, пряча провизию в запасные мешки.— Спасибо! Всего хорошего!

— Счастливый путь! — сказал повар.

Повар принялся за стряпшо, а Свемпи отбыл, захватив по дороге мешок с мукой, спрятавший за деревом, и стараясь идти так, чтобы купа деревьев заслоняла его от лагеря надсмотрщиков, ибо повар мог оглянуться и изменить свой взгляд на aberrацию памяти.

Почти у каждого жителя австралийских зарослей есть по крайней мере одна иллюзия или идея, которой хватает ему на всю жизнь, так же как есть у каждого из них по крайней мере одно выжешное из словаря словечко, которым он всю жизнь довольствуется.

У Брумми была мрачная идея — бог весть, откуда она взялась, — что он должен был попасть на сцену, не будь его родные столь невежественны. Он считал, что у него лицо и осанка актёра, что он может подражать голосу любого человека и изумительно владеет мимикой. Они пришли на заведомо «голодную» станцию, где управляющим и кладовщиком был шотландец. Брумми предстал в своём собственном обличьи, имел разговор с кладовщиком, рассказал о больном товарище и получил муку и мясо. Они расположились на берегу реки, и на следующее утро Брумми приступил к бритью.

— Что это ты задумал, Брумми? — с великим изумлением спросил Свемпи.

— Подожди и увидишь, — мрачно и внушительно проворчал Брумми, как будто собирался по окончании бритья перерезать глотку Свемпи.

Он сбрил бороду и усы, надел шапку и куртку, принадлежавшие Свемпи, изменил голос, сгорбился и потащился к станции, волоча парализованную ногу. Он повидал повара и получил хлеб из непросеянной муки и кусок зажаренного мяса. Затем он повидался с кладовщиком и затронул вопрос о табаке. Сэнди¹ окинул его взглядом и выслушал не без интереса, а потом сказал:

— Ладно уж, ладно! Но незачем тебе было трудиться и сбривать бороду — холода на носу! И обноски твоего товарища тебе не впору, слишком узки. И с парализованной ногой дело не вышло — она требует долгой практики. Чай и сахар у тебя есть?

Должно быть, Брумми затронул чувствительную струнку в этом пожилом шотландце, но полное отсутствие энтузиазма смутило Брумми, а старой привычкой иллюзии был нанесен жестокий удар. Как бы там ни было, но в течение следующих нескольких дней он предоставлял Свемпи попрошайничать.

Но выдался такой плохой сезон, когда им и в самом деле пришлось очень туго — туго даже с точки зрения Брумми и Свемпи. Долго скитались они впроголодь и встретили только несколько жалких джекеру, тяжёлые времена выгнали их из городов, и они уныло плелись на запад. У Брумми и Свемпи вышел весь табак, а штаны так безнадежно протёрлись сзади, что когда бродяги заходили за подачкой туда, где были женщины, они должны были уходить, пятясь и подвигаясь бочком, хотя оба они не предъявляли больших требований к костюму и внешности.

Было совершенно необходимо заработать фунта два, и вот они решили недели две потрудиться. Вреда им от этого не будет, и есть прелесты новизны.

¹ Сэнди — кличка шотландцев.

Они попытались счастья на одной из станций, и оказалось, что боссу нужен работник, чтобы подбирать шерсть и подметать пол в сарае для стрижки.

— Я могу взять только одного,— сказал он,— договоритесь между собой, а завтра утром можно приступить к работе.

Брумми и Свемпи отошли в сторонку потолковать.

— Слушай, старина Брум,— начал очень дружелюбно Свемпи,— давно уже мы с тобой товарищи и всегда делили всё поровну. Всегда ты поступал со мной по справедливости, и теперь я отплачу тебе той же монетой. Не хочу я становиться тебе поперёк дороги. Бери ты эту работу, а уж я удовольствуюсь парой штанов да несколькими щепотками табаку. Вот оно как! Лучше и не придумать.

— Так-то оно так,— сердито проворчал Брумми.— А потом будешь мне вечно тыкать в нос, что я отпаял у тебя работу!

— Клянусь, что не буду,— живо отозвался Свемпи.— Но раз уж ты такой чертовски обидчивый и подозрительный, так на эту работу становись ты, а в следующий раз, когда что-нибудь подвернётся, пойду я. Подходит это тебе?

Брумми мрачно задумался.

— Слушай!— сказал он вдруг.— Давай покончим с этой дурацкой слюнявой болтовней. Вот как мы сделаем: я уступаю тебе эту работу, а сам рискну. Может быть, завтра боссу понадобится ещё один человек. Ну, как, доволен ты?

Но Свемпи, казалось, не почувствовал ни признательности, ни удовлетворения.

— Ну-ну!— заворчал Брумми.— Из всех проклятых... с которыми мне случалось бродяжничать, ты самый... Чего ты, собственно говоря, хочешь? Чем ты останешься доволен? Вот что хотелось бы мне знать. Э? Не можешь, что ли, ответить?

— Давай бросим жребий,--- хмуро буркнул Свемпи.

— Ладно, — сказал Брумми и крепко выругался.

Он полез в карман за двумя старыми пенни. Но у Свемпи почему-то мелькнуло подозрение, что один из этих пенни окажется либо с двумя орлами, либо с двумя решками. К тому же он подозревал Брумми в «ловкости рук». Поэтому он вытащил из кучи хвороста щепку, плюнул на неё и высоко подбросил.

— Говори! — крикнул он. — Мокрое или сухое?

— Сухое, — быстро сказал Брумми.

Он был уверен, что щепка должна упасть на землю мокрой стороной, как, предположительно, — более тяжёлой. Но сейчас три раза подряд «мокрое» оказалось сверху. Брумми игнорировал протянутую руку Свемпи, который принёс сердечные поздравления. На следующее утро он начал работать в сарае. Свемпи расположился лагерем ниже по течению реки, а Брумми снабдил его дешёвыми молескиновыми штанами, провизией и табаком. Стрижка в сарае закончилась через три недели, и оба вечерника снова пустились в путь — Брумми с двумя фунтами и мелочью в кармане; по чеку ему уплатили в сарае.

Но теперь в сердцах этих двух путников зародились подозрение, зависть и недоверие. Брумми был теперь надутым капиталистом, возгордился, и ему нетерпелось отделаться от Свемпи — во всяком случае так полагал Свемпи. Он думал также, что Брумми должен был хотя бы поделиться с ним «деньжатами».

— Слушай, Брумми, — укоризненно сказал он, — всегда мы с тобой делили всё пополам...

— Деньгами мы никогда не делились, — решительно сказал Брумми.

— Очень мне нужны твои проклятые деньги! —

с негодованием возразил Свемпи.— Просил я у тебя когда-нибудь хотя бы шестипенсовик? Отвечай!

— Всё равно не получил бы, даже если бы и попросил,— твёрдо заявил Брумми.— Слушай!— с жаром продолжал он.— Разве я не снабжал тебя табаком, не купил тебе проклятых штанов? Чего ты ещё ко мне лезешь?

— Да я хотел только предложить,— сказал Свемпи,— чтобы ты дал мне нести один из этих квидов на случай, если ты потеряешь другой. Ты сам знаешь, какой ты рассеянный, вечно всё теряешь. Или вдруг с тобой что-нибудь случится.

— Я не собираюсь его терять. Пусть это тебя не беспокоит, и ничего со мной не случится, и ты это запомни.

— Вот она— благодарность за то, что я уступил тебе свою работу!— злобно сказал Свемпи.— В другой раз не буду таким слюнявым дураком, можешь в этом не сомневаться.

Брумми не поддержал разговора, и Свемпи отстал от него. Он мрачно размышлял, а это нехорошо, когда человек занимается мрачными размышлениями в джунглях. Он был возмущён Брумми. Он всегда был с ним начистоту, а Брумми повёл себя, как «корова». Он, Свемпи, этого не потерпит, он добьётся удовлетворения. Он в дураках не останется. Если Брумми поступил с товарищем, как гнусная вонючка, Свемпи сведёт с ним счёты. Он будет караулить, пока Брумми не заснёт, заберёт монеты и смоеется. Как бы там ни было, а работу предлагали ему, значит, и деньги его по праву. Он настаит на своих правах.

Брумми, у которого был котелок, заставил Свемпи пройти порядочный путь, прежде чем сделал привал и разложил костёр. Чай они пили в молчании, хмуро закурили, сидя врозь, а затем Брумми лёг спать. Спали они обычно на земле, набросав листьев, или на песке— там, где был песок. Каждый завёрты-

вался в своё собственное одеяло, а под голову подкладывал вместо подушки что-нибудь из одежды, или, вернее, какое-нибудь тряпьё. Вскоре улёгся и Свемпи и притворился, что спит, но он не спал, караулил и прислушивался к дышанию Брумми. Решив, что пора начинать, он осторожно подкрался и просушил руку под голову Брумми, по старого бумажника Брумми, в котором тот хранил какие-то засаленные старые письма, написанные женским почерком, там не оказалась.

На следующий день Свемпи зорко следил за Брумми, когда тот засовывал руки в карманы, и старался угадать, в каком кармане хранятся у него деньги. Весь день Брумми был очень весел и общителен, даже внимателен к своему товарищу, а Свемпи делал вид, будто очень доволен. Давно уже они не вели таких длинных разговоров. У Брумми сон был крепкий, и в ту ночь Свемпи тщательно обыскал его и обшарил все карманы, но успеха не добился. На следующий день Брумми был в превосходном расположении духа: они подходили к Бурку, где собирались провести недели две, таскаясь по трактирам.

На третью ночь Свемпи ждал до полуночи, а затем обыскал Брумми, ощупал каждый дюйм его, до которого мог добраться, потом пощекотал его солонюшкой, чтобы он повернулся на другой бок, и ощупал его с другой стороны, ощупал и ноги (Брумми спал в носках), заглянул в башмаки, в котелок и в мешки с провизией, обшарил траву вокруг лагеря, шарил и под кустами, и в прогнившем пне и в дупле, но бумажника нигде не было. Быть не могло, чтобы Брумми потерял деньги и скрыл это — разумеется, он сейчас же повернул бы назад и начал поиски. Может быть, он выбросил бумажник, а деньги у него зашты в одежде. Свемпи снова подполз к нему, ощупал подкладку его шляпы и только что

провел рукой по его груди, как вдруг Брумми захрапел, и Свемпи, не теряя времени, отступил. Прерывисто дыша, он вернулся ползком к своему ложу и стал думать. У него мелькнула мысль, что в этом храпе было что-то воинственное. Он начал подозревать, что Брумми вёл свою игру, и это его огорчило.

Утром Брумми был настроен крайне легкомысленно. Во всякое другое время Свемпи приписал бы это лёгкому солнечному удару; но теперь у него крепла уверенность в том, что Брумми знает, чем занимался Свемпи последние три ночи. И чем больше он об этом думал, тем сильнее огорчался, и, наконец, стало ему невтерпёж.

— Слушай, Брумми, куда ты, чорт подери, прятал эти проклятые деньги?— спросил он напрямик.— Я старался до них добраться с той поры, как мы ушли со станции.

— Я это знаю, Свемпи,— ласково сказал Брумми, как будто он считал, что Свемпи сделал всё, что мог, в интересах товарищества.

— Я знал, что ты знаешь!— с торжеством воскликнул Свемпи.— Тысяча чертей, по куда же ты их девал?

— Они были у тебя под головой, старина Свемпи,— весело сказал Брумми.

Свемпи обиделся. Он выразил своё мнение на языке, каким обычно пользовались погонщики волов доброго старого времени, когда гарцовали вокруг своих упряжек, тузили волов молоденькими деревцами и железными ломанами и заставляли вытягивать тяжёлую подводку из трясины в русле грязной речонки.

— Ничего, Свемпи!— успокоительно сказал Брумми, когда его товарищ замолчал, принимая более крепкие ругательства.— Это не твоя вина.

Но в Бурке они расстались. Свемпи всегда поступал по справедливости с Брумми— делил всё поровну. Для товарища он был готов на всё и мю-

гое мог спести. Разве мало он терпел от Брумми? Он, Свемпи, подобрал его на дороге и научил всему, что сам знал. Не будь его, Свемпи, много раз подох бы Брумми с голоду; Свемпи научил его «бороться». Он бы и сейчас не бросил Брумми, но он не может мириться с неблагодарностью. Он ненавидит гнусное лукавство и подозрительность, и если товарищ начинает подозревать своего же старого товарища, перестает ему доверять и старается припрятать от него свои проклятые деньги, значит, пришла пора расстаться!

ДЕТИ В ДЖУНГЛЯХ

*О феях волшебных расскажи ей сказку,
— Только жители джунглей знают ее,
— О том, как ведут они заблудившихся,
О том, как несут их сквозь звездную ночь
Туда, где дети теряются в джунглях.*

Он был одним из тех, кто редко улыбается. Много есть таких людей в австралийских джунглях, куда стекаются со всего света обломки крушения и неудачники всех рангов и профессий (и не имеющие оных). И если они улыбаются, улыбка их, как правило, либо автоматическая, либо горькая, циничная. Они редко вступают в разговор. Такого сорта люди, если они боссы, почитаются большинством, без всяких к тому оснований и данных, гордыми, жестокими и эгоистичными — «слишком скареды, чтобы жить на свете и слишком задирать нос».

Но когда босс улыбался, лицо у него было очень, очень доброе и очень печальное. Я видел, как он улыбался маленькому ребенку, который непременно хотел сидеть у него на коленях и что-то лепетать ему, несмотря на его молчаливость и мрачность. Он был высок и худощав, с измученными серыми глазами — по

временам это бывали затравленные серые глаза,— с бородой и волосами очень густыми, но с проседью. Ему было не больше сорока пяти лет. Он принадлежал к тому типу людей, которые умирают в упряжке, у кого волосы очень густые, но с проседью или совсем седые, хотя им ещё полагается быть тёмными. К противоположному типу относятся, по моему мнению, мягкотелые, темноволосые, голубоглазые люди, которые лысеют раньше, чем седеют, они толсты, самодовольны и умирают rispetабельно в своей постели.

Звали его Хед, Уолтер Хед. Он был боссом-гуртовщиком, перегонявшим скот по дорогам, пересекающим страну. Я нанялся к нему в одном местечке севернее границы Куинсленда, чтобы переправить в Батхерст, по Великому Западному пути в Нью Саут Уэльс, свыше тысячи голов рогатого скота — волов — для сиднейского рынка. Я, житель австралийских зарослей (проживавший и в городах), конечно, бродяга и, вероятно, никудашник. Я родился с мозгами и тонкой шкурой — не повезло мне!

Было это ещё до моей женитьбы, и в ту пору меня звали Джек Эллис — не потому что я скрывался от полиции. Так прозвали меня ребята, потому что я имел обыкновение рассказывать разные истории о некоем Джеке Эллисе.

Босс мало разговаривал с погонщиками: садясь за еду или покуривая трубку у лагерного костра, он молчал, пожалуй, не меньше, чем по ночам, когда объезжал громадное, беспокойное, казавшееся призрачным стадо волов на равнине, залитой бледным звёздным светом. Мне кажется, чаще и более доверительно он разговаривал со мной, чем с кем-либо другим из погонщиков. Мы как будто симпатизировали друг другу: не могу объяснить, что это было. Казалось, между нами существовало молчаливое соглашение, что мы понимаем друг друга. Иной

раз он говорил мне такие вещи, которые, как я полагал, нуждались бы в пространных объяснениях, скажи он их кому-нибудь другому. Частенько, после глубокого раздумья, он начинал фразу и обрывал её словами: «Ты понимаешь, Джек». И, бывало, я понимал, хотя не мог бы объяснить, почему. Мы с ним ни разу не встречались до той поры, как я нанялся к нему на эту работу. Погонщики его уважали, но он не пользовался популярностью: он был слишком мрачен, никогда не случалось, чтобы он опрокинул стаканчик или угостил выпивкой во время переходов; считали, что босс — скряга и изматывает людей на работе.

Он, как и я, был начинён стихами Адама Линдсея Гордона, англо-австралийского поэта, который застрелился. Дорогой я потерял старую книжку стихов Гордона, и босс услышал, как я наводил справки о ней; позднее он меня спросил, люблю ли я Гордона. Сначала мы немножко стеснялись, но вскоре начали без смущения декламировать по очереди Гордона, когда оставались одни в лагере.

— Прекрасные стихи об этих путешественниках, Бурке и Уиллсе, правда, Джек?— говорил босс; он долго не нарушал молчания и жевал конец, или, вернее, ствол своей трубки из верескового корня.

Трубка была у него во рту так же часто, как у любого из нас, но почему-то я думал, что он не наслаждается ею; казалось мне, пустая трубка, а не то и палочка одинаково пришлись бы ему по вкусу.

— Замечательные стихи,— говорил он:

Поднимается ввысь на Коллинз-стрит
Высокая статуя на пьедестале
И повествует великим и малым
О прахе, взятом у пустыни назад.

Истощённый, истаявший, без сил,
Угасший и слабый, совсем изнурённый,

Лежит он в пустыне и, умирая,
Отходит туда, куда все мы уйдём.

— Это превосходная вещь, Джек. Как дальше?

Ослабшей рукой сжат пистолет,
И смертная дымка к глазам опустилась,
Он видел, как солнце к пескам сникало,—

Босс выпрямлялся со вздохом, который можно было принять за зевок,—

Он спит, никогда не увидит восход,—

и в голосе его была какая-то спокойная сила. Потом он становился спиной к костру, поджаривая свои пыльные гамашы, заложив руки за спину и глядя вдаль, на сумеречную равнину.

И зачем ему мел и песок,
И дело какое ему до деревьев?
До клюва орлиного есть ли дело?
И до горячего языка собак?

— И в самом деле, какое до них дело, Джек?

— Будь я проклят, если это не так, босс! — отзывался я.

А могильщики грубы всегда,
Саван — свинцовый, и всё же мы знаем,
Что самого смелого точат черви,
Когда он уйдёт, куда все мы уйдём.

Однажды он прочитал поэму, в которой были такие строки:

Любимая, когда мы вместе здесь бродили,
Рука в руке, в неповторимый день,
Конечно, были мы любезны богу.

— Прекрасные строки, Джек.

Яснее были небеса и берега надёжней,
И море синее взбегало на песок,
Журчало, лепетало и шептало.

— Как дальше, Джек?

Он встал и повернулся лицом к костру, но я успел разглядеть его лицо. Я думаю, что самые печальные глаза в мире бывают большей частью у женщин, но редко видел я такие печальные глаза, какие были в ту минуту у босса.

Казалось странным, что ему, обитателю джунглей, больше нравились морские поэмы Гордона, чем его стихи о лесах и конях, но так оно было. По-моему, любимым его стихотворением было то стихотворение Гордона, где есть такая строфа:

Я бы хотел, чтоб в сонных объятиях
Море замкнуло меня и упоило
В самых своих сокровенных глубинах,
Где такое чудес изобилие божьих.

Обычно он говорил тихо, словно в лагере был покойник; но, позанявшись некоторое время поэзией Гордона, он резко сбывал чтение словами: «Ну, пора спать», или «Пора на работу», или отдавал мне какое-нибудь распоряжение касательно скота. Говорили, что прежде он был зажигочным скваттером на реке Лаклен в Нью Саут Уэлсе, а разорила его засуха. Как-то ночью, на привале, он чуть ли не целый час курил молча, потом спросил:

— Знаешь ты Фишера, Джек,— Фишера, которому принадлежат эти волы?

— Слышал о нём,— ответил я.

Фишер был крупным скваттером, у него были станции и в Нью Саут Уэлсе и в Куинсленде.

— Много лет назад он пришёл ко мне на станцию на Лаклене без единого пепни в кармане, не во что было одеться, корки хлеба не было в пищевом мешке, и я дал ему работу. Теперь он мой босс. Ну, что ж! Так оно часто бывает в Австралии, Джек.

У босса был один работник, который отправлялся с ним каждый раз, когда перегоняли гурт; говорят, он родился на станции босса и жил с ним всю жизнь.

Звали его Энди. Я забыл его фамилию, если она у него была. На его попечении находилась «гуртовая повозка» (запряжённая парой телега с навесом, на которой мы перевозили провизию и корм для лошадей). Энди занимался также стряпней и счетоводством: босс ничего не смыслил в цифрах. По виду Энди можно было дать от двадцати пяти до тридцати пяти лет. Волосы его торчали во все стороны, как исправная щётка, а большие серые глаза смотрели вопросительно. Его слабостью были девушки, а может быть, он был их слабостью (полукровки не составляли исключения). Он был самым наивным и добродушным парнем с открытой душой, какого случалось мне встречать. Как-то ночью, когда мы прошли уже около половины пути, Энди, оставшись со мной вдвоем в лагере, заговорил о боссе.

— Похоже на то, что босс полюбил тебя, Джек.

— Ты так думаешь?— сказал я.

Я почуял ревность, и мне послышалась насмешка.

— Я в этом уверен. С *ним* это случается очень редко.

Я промолчал.

Спустя немного Энди неожиданно сказал:

— Знаешь, Джек, я этому рад. Мне бы хотелось, чтобы он с кем-нибудь подружился, хотя бы только на один перегон. И смотри, не ошибись насчёт босса. Он человек порядочный. Мало, кто его знает — теперь очень мало их осталось... Но я-то знаю, а для него очень было бы полезно иметь человека, с которым можно поговорить.

До конца нашего путешествия Энди больше не касался этого предмета.

Длинные, раскалённые, пыльные мили по сожжённым равнинам — вернее, широким просекам — и сквозь пожиряемые зноем джунгли, и, наконец, мы добрались до Батхерста. А тогда жаркие, пыльные дни, недели и месяцы, оставшиеся позади на Вели-

ком Западном пути, показались нам пустяком — и, вероятно, пустяком покажется жизнь, когда мы дойдём до конца её.

Волов отправили из Батхерста в Сидней по железной дороге. Весь долгий день мы грузили их на товарные платформы, а когда с этим было покончено, босс сказал мне:

— Слушай, Джек, ведь ты едешь в Сидней, не так ли?

— Да, хочу поразвлечься.

— Почему бы тебе не подождать и не поехать завтра с Энди? Он будет присматривать за волами. Поезд отходит на рассвете. Ехать не так удобно, как в пассажирском, но зато ты сэкономишь деньги за билет и поможешь Энди управиться со скотом. Вам придётся только поглядывать на волов на каждой остановке и поднимать тех, кто повалится. Ведь вы с Энди приятели?

Я сказал, что мне это дело подходит. Почему-то я подумал, что боссу хочется провести со мной ещё один вечер, а по правде говоря, мне было жаль расставаться с ним. Я исполнял такую же тяжёлую работу, как и другие ребята, но он мне нравился, и мне казалось, что и я ему правлюсь. На меня он производил впечатление человека, которого пришибло какое-то тяжкое горе, и я чувствовал к нему жалость, не зная, что это было за горе.

— Пойдёмте, выпьем, босс,— сказал я.

Агент расплатился с нами днём. Босс зашёл со мной в гостиницу.

— Я не пью, Джек,— сказал он,— но с тобой выпью стаканчик.

— Я не знал, что вы трезвенник, босс,— отозвался я.

Меня не удивляло, что он так строго воздерживается от выпивки во время переезда, но теперь, по окончании путешествия, это было уже другое дело.

— Я не трезвенник, Джек,— возразил он.— Я могу выпить стаканчик, но могу и не пить.

Он потребовал кварту пива, и мы выпили за здоровье друг друга.

— Да,— сказал я,— хорошо, если б и я мог пить, а мог и не пить.

И я не шутил.

Теперь босс заговорил так, как я никогда ещё не слышивал. Была минутка, когда я подумал, что одна кружка пива бросилась ему в голову, но уже в тот вечер я понял. Он тяжело опустил руку мне на плечо, как человек, внезапно принявший решение дать вам займы пять фунтов.

— Джек,— сказал он,— бывают вещи похуже, чем пьянство, и бывают вещи похуже, чем безудержное куренье. Если у курящего человека такой груз забот на плечах, что он не находит никакого утешения в трубке, значит, груз у него тяжёлый. А если человек пьющий так глубоко увяз в горе, что не находит никакого утешения в вине, значит, горе у него глубокое. Верь моему слову, Джек!

Он оборвал свою речь и, резко мотнув головой, отвернулся, словно досадуя на себя. Потом заговорил своим обычным, спокойным тоном:

— Но ты ещё мальчик, Джек. Не обращай на меня внимания. Второй кружки я не предлагаю. Она тебе не нужна, а я в этом деле понимаю.

Он замолчал, положил обе руки на край стойки и уставился вниз, в пол. Так стоял он некоторое время в раздумьи, потом вдруг выпрямился, как человек, на что-то решившийся.

— Я хочу свести тебя к себе домой, Джек,— сказал он.— На ночь мы тебя как-нибудь устроим.

Я забыл сказать, что он был женат и жил в Батхерсте.

— Не помешать бы миссис Хед?

— Нисколько. Она тебя ждёт. Идём. В Батхер-

сте смотреть не на что, и ты ещё успеешь нагуляться в Сиднее. Мы придём как раз к чаю.

Он жил в кирпичном котэдже на окраине города, в старомодном котэдже, оббитом розами и плющом; такие котэджи встречаются в этих округах со старыми поселениями. Помню, перед домом был пень, покрытый плющом и походивший на дубинку великана, торчавшую толстым концом вверх.

Когда мы подошли к дому, босс на минутку приостановился, положив руку на калитку. Он уже побывал дома, на два дня опередив волов.

— Джек,— начал он,— должен тебе сказать, что в прошлом миссис Хед перенесла большое горе. Мы... мы потеряли обоих наших детей. Иной раз ей полезно поговорить с новым человеком — после этого ей всегда бывает легче, но мало кого хочется мне приводить сюда. Ты... ты не обращай внимания, если что-нибудь покажется странным. И соглашайся с ней, Джек. Ты меня понимаешь, Джек?

— Ладно, босс,— сказал я.

Слишком долго болтался я в джунглях и слишком много перевидал странных людей и вещей, чтобы чему-нибудь чересчур удивляться.

Дверь открылась, и он принял в свои объятия маленькую женщину. При свете лампы, горевшей в комнате, я увидел, что волосы у женщины седые, и решил, что с ним живёт его мать. Странные иной раз мелькают у нас мысли: я подумал, ладит ли миссис Хед со свекровью... Но через минуту я уже был в комнате, босс знакомил меня: «Моя жена, миссис Хед», и я смотрел на неё во все глаза.

Это была его жена. Вряд ли мне удастся описать её. В первые две минуты, когда я вошёл в комнату из темноты и глаза ещё не привыкли к свету лампы, у меня было такое впечатление, будто передо мной стоит маленькая старая леди — одна из

тех хорошо сохранившихся маленьких старых леди, которые одеваются, как молоденькие, носят вставные зубы и подражают ветреным девушкам. Но такое впечатление объяснялось чересчур пылким радушием миссис Хед и её седыми волосами. Волосы были не такие седые, какими они показались мне сначала, когда свет лампы падал на них сзади; они были тускло каштановые, словно присыпанные мукой. Она подстригала их коротко, и это ей шло. На мой взгляд, в её лице было что-то аристократическое — нос и подбородок, — и ещё что-то не поддающееся описанию. У неё были большие тёмные глаза, — коричневые, как мне показалось, но они могли быть и карими; на мой взгляд они были слишком большие и блестящие, а когда она начинала волноваться, вокруг зрачка видна была белая полоска, очень узенькая, но для меня и этого было достаточно.

Казалось, она была чрезвычайно рада меня видеть. Я подумал, что она склонна к аффектации.

— О, как я рада, что вы пришли, мистер Эллис, — сказала она, крепко пожимая мне руку.

— Уолтер, мистер Хед, говорил мне о вас. Я вас ждала. Садитесь к камину, мистер Эллис, сейчас подадут чай. Вы не находите, что сегодня прохладно?

Она зябко поёжилась. В эту пору на равнинах Батхерста ночи бывали прохладные. Стол был сервирован для чая и сервирован изящно. Меблировка коттеджа была слишком хороша даже для преуспевающего босса-гуртовщика; похоже было на то, что в былые времена эта мебель стояла в какой-нибудь фешенебельной усадьбе. Сначала, сядя за чай, я чувствовал себя не в своей тарелке и готов был пожалеть, что не расположился закусить где-нибудь в ресторане или трактире. Но она хорошо знала джунгли, она расспрашивала о нашем путешествии, болтала, и скоро я перестал стесняться. Видите ли, последние

два года я брал пищу руками, ел дэмпер¹ и мясо, пользуясь складным ножом, сидя на корточках в пыли, на бревне или на ящике из-под провизии.

Была здесь сухая, тёмная, сморщенная старуха, которую чета Хед называла «тётушкой». Она прислуживала за столом, но и сама миссис Хед почти всё время суетилась, угощая нас. К чаю пришёл Энди.

Миссис Хед суетилась, как двадцатилетняя девушка, хотя ей было тридцать семь лет, как сказал мне потом Энди. Фигура и движения у неё были девичьи, а также девичья импульсивность и манера выражать свои мысли — женственная девушка; но по временам в её лице и в разговоре мне мерещилось что-то совсем детское. После чаю она и босс уселись по одну сторону камина, а мы с Энди по другую — Энди немного позади меня, у конца стола.

— Уолтер, мистер Хед, сказал мне, что вы бывали на реке Лаклен, мистер Эллис? — начала она, едва успев сесть, и наклонилась вперёд, словно ей не терпелось поскорей услышать, что я там был.

— Да, миссис Хед. Я исколесил те края.

Она выпрямилась, сдвинула брови и прижала концы пальцев к виску. Такая была у неё манера — в течение всего вечера она часто повторяла этот жест. И при этом как будто забывала, о чём только что шла речь.

Она разгладила лоб и сложила руки на коленях.

— О, я так рада повидаться с человеком из тех краёв, мистер Эллис, — сказала она. — Уолтер так редко приводит сюда новых знакомых, а мне надо-едаёт говорить всё с одними и теми же людьми, всё об одном и том же, и видеть всё те же лица. Вы не знаете, какое это облегчение, мистер Эллис, — увидеть новое лицо и поговорить с новым человеком.

¹ Д э м п е р — австралийский хлеб: пресные лепёшки, испечённые в золе.

— Я это прекрасно понимаю, миссис Хед.

Я и в самом деле понимал. Нигде я не задерживался дольше, чем на три месяца, если это от меня зависело.

Она уставилась в огонь и как будто старалась сосредоточиться. Босс выпрямился и погладил её по голове своей большой загорелой рукой, а потом обнял её за плечи. Это привело её в себя.

— Знаете ли, мистер Эллис, у нас была станция на Лаклене. Уолтер рассказывал вам, как мы там жили?

— Нет,— сказал я, взглянув на босса.— Я слышал, что у вас была там станция. Но вы знаете, босс не любит много говорить.

— Расскажи ему, Мегги,— сказал босс.— Я ничего не имею против.

Она улыбнулась.

— Вы знаете Уолтера, мистер Эллис,— сказала она.— Не обращайтесь на него внимания. Он не любит, когда я говорю о детях; думает, что меня это расстраивает, но это глупости: я всегда чувствую облегчение, поговорив с новым человеком.

Она с каким-то нетерпением наклонилась вперёд и быстро продолжала:

— Я хотела поговорить с вами о детях с той минуты, как Уолтер рассказал мне о вас. Я знала, что вы поймёте, как только увидела ваше лицо. Эти горожане не понимают. Мне приятно говорить с жителем зарослей. Вы знаете, мы потеряли наших детей там, на станции. Фен увели их. Уолтер говорил вам когда-нибудь о феях, которые увели детей?

Я попал впросак.

— П...простите,— начал я, но тут Энди подтолкнул меня.

Тогда я всё понял.

— Нет, миссис Хед. Босс мне об этом не говорил.

— Вы, конечно, знаете о феях джунглей, мистер Эллис,— сказала она, смотря мне в лицо своими огромными глазами,— о феях, которые присматривают за малютками, заблудившимися в джунглях, и уводят их оттуда, если детей не удалось найти? Вы должны были о них слышать. О них знают почти все обитатели зарослей, с которыми мне приходилось разговаривать. Может быть, вы их видели? Энди видел, Энди снова ткнул меня в спину.

— Конечно, я о них слышал, миссис Хед,— сказал я,— но не могу поклясться, что я их видел.

— Энди видел. Правда, Энди?

— Конечно, видел, миссис Хед. Ведь я же вам рассказывал, когда мы в прошлый раз вернулись домой.

— А мистеру Эллису ты не рассказывал, Энди?

— Конечно, он говорил! — воскликнул я, поспешив на выручку Энди. — Теперь я припоминаю. Ты мне рассказал об этом, Энди, в ту ночь, когда мы сделали привал на реке Боген.

— Верно! — сказал Энди.

— Он вам рассказывал о том, как нашёл заблудившегося ребёнка и с ним фею?

— Да,— отозвался Энди,— об этом я ему рассказывал.

— И фея как раз собиралась увести ребёнка, когда Энди нашёл его, но, увидев Энди, фея улетела.

— Да,— подтвердил я,— так и Энди мне говорил.

— А на кого была похожа фея? Как ты сказал, Энди? — спросила миссис Хед, переводя взгляд на его лицо.

— На кого похожа? Она была похожа на тех ангелов на картинках из библии, миссис Хед,— не задумываясь, отвечал Энди, выпрямившись, как стрела, и глядя ей прямо в глаза своими большими, невинными серыми глазами, дабы она не подумала, что он

сочиняет сказки. — Она была точь-в-точь, как тот ангел на картинке «Христос в яслях», которая была у нас дома, на станции, — тот, что с правой стороны, в голубом.

Она улыбнулась. Эту улыбку нельзя было назвать идиотской или глупой, какую улыбаются иной раз помешанные меланхолики. Скорее, это была счастливая детская улыбка.

— Вначале я вела себя так глупо и причинила столько хлопот бедному Уолтеру и докторам. Конечно, я тогда и не подозревала, только впоследствии я досадалась, что феи увели детей.

Она прижала концы пальцев к вискам и сидела так довольно долго; потом снова очнулась.

— Но о чём я думаю? Я даже и не начала ещё рассказывать вам о детях. Тётушка! Принесите, пожалуйста, портреты детей! Они у меня на туалетном столике.

Старуха как будто колебалась.

— Ступайте, тётушка, исполните мою просьбу, — сказала миссис Хед — Не дурите. Ведь вы же знаете, что я теперь здорова.

— Не обращайтесь никакого внимания на тётушку, мистер Эллис, — с улыбкой сказала она, когда старуха пошла к двери. — Бедная старушка, иногда она бывает чудаковатой, это свойственно старости. Она не любит, когда я говорю о детях. У неё засела мысль, что я опять начну болтать чепуху, как это было в первый год, когда дети заблудились. Я была тогда очень глупой, правда, Уолтер?

— Правда, Мегги, — сказал босс. — Но всё это в прошлом. Не надо вспоминать о тех днях.

— Видите ли, — сказала мне в пояснение миссис Хед, — сначала я никак не могла выбросить из головы мысль, что дети блуждали в джунглях, пока не погибли от голода и жажды. Как будто феи джунглей могли допустить их гибель!

— Ты была очень глупенькой, Мегги,— сказал босс,— но не думай об этом.

Старуха принесла фотографические карточки маленького мальчика и девочки; должно быть, это были прехорошенькие детки.

— Вот, смотрите,— сказала миссис Хед, жадно схватив карточки и подавая их мне одну за другой,— мы их снимали в Сиднее за несколько лет до того, как они заблудились; тогда они были гораздо моложе. Карточка Уолли неудачная; у него тогда прорезывались зубки, и он очень худенький. Вот он стоит на стуле. Хорошая поза, не правда ли? Смотрите, он протягивает ручонку, выставил вперед ножку, и глаза у него горят. Карточка очень темная, нужно присматриваться, чтобы разглядеть ножку. Он тянется к игрушке, к кролику, которого подбрасывает фотограф, чтобы рассмешить его. На другой карточке он сидит на стуле — он только что расположился поиграть. А посмотрите, какой довольный вид у маленькой Мегги. Я её придерживаю на стуле, вы можете разглядеть мою руку. Мегги было тогда шесть месяцев, а маленькому Уолли только что мишугуло два года.

Она положила карточки на каминную полку.

— Дайте припомнить; Уолли — это маленький Уолтер — Уолли было пять лет, а маленькой Мегги три с половиной года, когда мы их потеряли. Не правда ли, Уолтер?

— Да, Мегги,— сказал босс.

— Ты был в отъезде, Уолтер, когда это случилось.

— Да, Мегги,— сказал босс весело, как мне показалось.— Я был тогда в отъезде.

— И мы не могли тебя найти, Уолтер. Видите ли,— обратилась она ко мне,— Уолтер, мистер Хед, уехал по делам в Сидней, и мы не могли узнать его адрес. Утро было чудесное, только, пожалуй, жарко

было, только что кончилась засуха. Трава везде выше колен. Место очень пустынное; вокруг усадьбы расчищено было всего на сотню ярдов, а дальше, на расчищенном участке, тянулись эти бесконечные страшные джунгли — на много-много миль, в иных местах на пятьдесят и на сто миль сплошные заросли. Не правда ли, Уолтер?

— Правда, Мегги.

— Я была одна дома, если не считать Мери девушки-послукровки, которая жила у нас и помогала мне вести хозяйство и присматривать за детьми. Энди отправился с работниками на луга загонять овец. Правда, Энди?

— Да, миссис Хед.

— Обычно я не спускала глаз с детей, когда они бегали вокруг дома, потому что стоило им забежать в заросли и они бы заблудились. Но в то утро маленький Уолли стал упрашивать, чтобы япустила его с сестрёнкой на стороженный лужок к группе эвкалиптов нарвать лютиков. Помнишь эти эвкалипты, Уолтер?

— Помню, Мегги.

— «Я не пойду за изгородь, мама», — сказал маленький Уолли. Я видела старого Питера, нашего старого пастуха и рабочего на станции; я видела, как он работает на плотине — мы хотели запрудить речку, которая протекает там. Помнишь старого Питера, Уолтер?

— Конечно, помню, Мегги.

— Я знала, что старый Питер присмотрит за детьми. Вот я и сказала маленькому Уолли, чтобы он взял за руку сестру, подошёл прямо к старому Питеру и сказал ему, что я их прислала.

Она наклонилась вперёд, обхватила руками колени и рассказывала мне об этом с каким-то странным увлечением.

— Малютки, взявшись за руки, пошли впер-

валку, придерживая свободной рукой соломенные шляпы. «Вдруг поднимется злой ветер!» — сказала маленькая Мегги. Я видела, как они пролезли под перекладной первой изгороди. И с тех пор никто их больше не видел.

— Никто, кроме фей, Мегги, — быстро сказал босс.

— Конечно, Уолтер, кроме фей.

На минуту она снова приложила пальцы к вискам.

— Оказывается, Питер собирался в тот день ехать в лагерь загопщиков, отвезти им хлеб. Он оставил работу на плотине и пошёл в заросли за своей лошастью как раз в тот момент, когда я вошла в дом, а дети ещё не успели подойти к нему. Они последовали за ним издали, а может быть, пошли в джунгли за цветами и бабочками...

Она оборвала свой рассказ и вдруг спросила меня:

— Как вы думаете, мистер Эллис, феи заманивают детей в джунгли?

Босс поймал мой взгляд, нахмурился и слегка покачал головой.

— Нет. Я уверен, что они этого не делают, миссис Хед, — ответил я. — Во всяком случае, судя по тому, что я о них знаю.

Снова она задумалась или старалась сосредоточиться со свойственным ей беспомощным, недоумевающим видом. Потом заговорила быстро и, как показалось мне, машинально:

— Об этом я узнала только через час, когда к дому подошёл Питер, ведя лошадь, и без детей. Я сказала... сказала: «Боже мой! Где же дети?»

Её пальцы вспорхнули к вискам.

— Не думай об этом, Мегги, — быстро вмешался босс, глядя её по голове. — Расскажи Джеку о феях.

— Ты был тогда в отъезде, Уолтер?

— Да, Мегги.

— И мы не могли найти тебя, Уолтер?

— Да, Мегги.

Это было сказано очень тихо. Он оперся локтем о колено, подбородок опустил на руку и смотрел на огонь.

— Это была не твоя виша, Уолтер. Но как ты думаешь, если бы ты был дома, увели бы фен детей?

— Конечно, Мегги. Они должны были их увести: ведь дети заблудились.

— И в будущем году они приведут детей домой?

— Да, Мегги, в будущем году.

Она испуганно подняла руки к вискам, и прошло несколько минут, прежде чем она снова заговорила. Незачем было рассказывать мне о заблудившихся детях. Я словно видел, что было дальше. Она с девушкой-полукровкой бросается туда, где в последний раз видела детей, за ней старый Питер. Торопливые поиски в ближних джунглях. Мать всё время зовёт Мегги и Уолли, и тревога её растёт по мере того, как пролетают минуты. Старый Питер скачет в лагерь загонщиков. Всадники появляются мгновенно и словно из-под земли, как появляются они всегда в таких случаях, каким бы пустынным ни был округ. Они галопируют сквозь джунгли во всех направлениях. Торопливые поиски в течение первого дня, и мать, сходящая с ума от тревоги с наступлением ночи. Долгое, безнадежное ночное бдение с обезумевшими глазами; она вскакивает при каждом стуке лошадиного копыта, с первого взгляда угадывает самое худшее по лицу всадника. Систематические поиски спасательных отрядов на второй день и в последующие дни. Как быстро летят эти дни! Женщины с ближайшего пастбища или фермы, находящейся за десять — двадцать миль, приезжают, чтобы побыть с матерью, утешить её. («Запрягай лошадь в двуколку, Джим. Я должна поехать к этой бедной женщине!») Утешают её неве-

роятными историями о детях, которые пропадали много дней и были целы и невредимы, когда их нашли. Кошмые полисмены с неграми-следопытами. Спасательные отряды перекликаются друг с другом в джунглях — «куу-ии» и жгут сигнальные костры. Опасная, головокружительная скачка за новостями или за новыми помощниками. И сам босс, измученный, с безумными глазами, разъезжает по джунглям с Энди и ещё с кем-нибудь и безнадежно ищет в течение многих дней, когда остальные потеряли всякую надежду найти детей живыми... Всё это прошло передо мной, пока говорила миссис Хед; её голос звучал в это время так, как будто она была в другой комнате. А когда я очнулся и стал прислушиваться, она опять толковала о феях.

— Это было очень глупо с моей стороны, мистер Эллис. В течение многих недель — кажется, даже месяцев — я выходила в сумерках на веранду и звала детей. Я стояла там и кричала: «Мегги!» и «Уолли!» пока Уолтер не уводил меня в дом; иногда он должен был прибегать к силе. Бедный Уолтер! Но тогда я не знала о феях, мистер Эллис. Право же, одно время я была не в своем уме.

— В этом нет ничего удивительного, миссис Хед, — сказал я. — Это была страшная беда.

— Да, а я ещё ухудшила дело. Я была такой эгоисткой в своём горе. Но теперь всё прошло, Уолтер, — сказала она, ероша волосы босса. — Больше я никогда не буду так глупо вести себя.

— Конечно, не будешь, Мегги.

— Теперь мы очень счастливы, правда, Уолтер?

— Конечно, счастливы, Мегги.

— И дети вернуться в будущем году.

— В будущем году, Мегги.

Он наклонился к огню и стал размешивать угли.

— Не обращайтесь на нас внимания, мистер Эллис, — продолжала она. — Бедный Уолтер так часто

бывает в отлучке, что, пожалуй, я слишком суечусь, когда он приезжает домой.

Она приостановилась п снова сжала пальцами виски. Потом быстро сказала:

— Они твердили мне, что все это вздор о феях, но это не друзья мои. Я не должна была их слушать, Уолтер. Ты мне советовал не слушать. Но тогда я и в самом деле была не в своём уме.

— Кто вам об этом твердил, миссис Хед?— спросил я.

— Голоса,— ответила она.— Ты знаешь о голосах, Уолтер?

— Знаю, Мегги. Но теперь ты не слышишь голосов, Мегги?— с беспокойством спросил он.— Ты их не слышала, когда меня здесь не было, Мегги?

— Нет, Уолтер. Они давно ушли. Теперь я слышу иногда голоса, но это говорят феи джунглей. Я слышу, как они окликают Мегги и Уолли, зовут их.— Снова она приостановилась.— И иногда мне слышится, будто они зовут меня. Но, конечно, я не могла бы уйти без тебя, Уолтер. Но я опять говорю глупости. Я хотела спросить вас о тех других голосах, мистер Эллис. Они твердили, что это сумасшедшая болтовня о феях, но ведь если бы феи не увели детей, Чёрный Джимми или негры-следопыты и полиция напали бы на след и нашли их сразу.

— Конечно, нашли бы, миссис Хед,— сказал я.

— Голоса говорили, что следопыты не могли напасть на след, потому что через два-три часа после того, как дети заблудились, полил дождь. Но это нелепо. Тогда была только гроза.

— Ещё бы!— подхватил я.— Я знаю случаи, когда негры выслеживали человека, хотя перед этим неделю лил дождь.

Снова она сжала голову пальцами, а когда подняла глаза, у неё был испуганный вид.

— Ах, Уолтер!— воскликнула она, уцепившись

за руку босса.— О чём это я говорила? Что подумает обо мне мистер Эллис? Ах, зачем ты позволил мне говорить?

Он обхватил её рукой за плечи. Энди подтолкнул меня и встал.

— Куда вы уходите, мистер Эллис?— живо спросила она.— Сегодня вы не уйдёте. Тётушка постелила вам постель в комнате Энди. Вы не должны обращать на меня внимания.

— Джек и Энди немножко погуляют,— сказал босс.— Они придут к ужину. Мы поболтаем, Мегги.

— Непременно возвращайтесь к ужину, мистер Эллис,— сказала она.— Право, не знаю, что вы должны обо мне подумать,— я говорю безумолку.

— О, я получил большое удовольствие, миссис Хед,— сказал я.

И Энди вытащил меня из комнаты.

— Теперь она хорошенько поплачет, и ей станет легче,— сказал Энди, когда мы отошли от дома.— Ей может полегчать на несколько месяцев. Больше года она была совсем почти разумной, но теперь, когда босс вернулся домой, он нашёл её в неважном состоянии. Должен тебе сказать, что его это очень расстроило. С ней бывают такие перемены, и всегда она кончает одним и тем же, вот как сейчас. Её тянет говорить об этом с жителем джунглей и с новым человеком; ей как будто становится легче. Доктор возражает против этого, но доктора не всё знают.

— Значит, это всё правда о детях?— спросил я.

— Жестокая правда,— сказал Энди.

— Так и не нашли тела?

— Нашли.— Длительная пауза.— Я их нашёл.

— Ты!

— Да. В кустарнике, и не так уж далеко от дома. И заросли там редкие. Удивительно, как их могли не заметить спасательные отряды; а впрочем, часто так бывает. Может быть, малыши забрались далеко,

а потом пачали кружить. Я нашёл их месяца через два после того, как они потерялись. Их нужно было найти во что бы то ни стало, хотя бы ради босса. Видишь ли, когда случается такое дело и тела не найдены, родители никак не могут отогнать навязчивую мысль, что малыши бродят ночью в джунглях (хотя бы уже прошло несколько лет) и погибают от холода, голода и жажды. Эта сумасшедшая мысль преследует их всю жизнь. Я думаю, так бывает с друзьями, утонувшими в море. Друзей на суше долгое время преследует мысль о белом распухшем трупе, который швыряют и кружат волны.

— И вы так и не сказали миссис Хед, что дети нашлись?

— Долго не говорили. Что толку было говорить? Несколько месяцев она была совсем помешанной. Он повёз её в Сидней, а потом в Мельбурн — к лучшим врачам, каких мог найти в Австралии. Они ничем не могли помочь, тогда он продал станцию: пожертвовал всем и повёз её в Англию.

— В Англию?

— Да, а оттуда в Германию, к тамошнему знаменитому врачу. Босс готов был отдать тысячу долларов, когда просили только пятьдесят. И всё ни к чему. В Англии ей стало хуже, она буйствовала, требуя, чтобы её отвезли обратно в Австралию и отыскали детей. Доктора советовали ему отвезти её обратно, он так и сделал. Он спустил все деньги, путешествуя в салон-вагонах, в заказанных заранее каютах, с сиделкой, и старался её вылечить; потому-то он и стал гуртовщиком. В Сиднее она не нашла покоя. Она хотела вернуться на станцию и ждать там, пока фен приведут детей домой. Постепенно она вбивала себе в голову эту мысль о феях. Босс её поощрял. Но станция была продана, да и всё равно он не мог бы там жить и не потерять рассудка. Женился он на ней в Батхерсте. У обоих были здесь род-

ственники и друзья, вот он и решил привезти её в Батхерст. Он ей внушил, что феи приведут детей сюда. Здесь все очень добры к ним. Я думаю, когда случается такая беда, не следует удирать из города, где тебя знают, а всё-таки большинство удирает. Много лет прошло, прежде чем он потерял последнюю надежду. Мне кажется, он и теперь надеется — после того, как она довольно долго чувствовала себя сиюию.

— А вы так и не решились сказать ей, что дети найдены?

— Сказали. Босс сказал. Сначала малюток похоронили на берегу реки Лаклен, но на босса навредила ужас мысль, что они зарыты в джунглях, вот он и перевёз их в Сидней и похоронил близ моря на кладбище Уэверлей. Он купил там участок и оставил место для себя и для Мегги, когда они помрут. Это вся земля, какую он владеет в Австралии, а когда-то у него было много тысяч акров. Однажды он повёз её на могилу. Доктора были против, но он не мог успокоиться, пока не сделал этой попытки. Он повёз её и объяснил ей всё. Она как будто мало заинтересовалась. Прочитала имена на памятнике, сказала, что памятник красивый, расспрашивала, как нашли детей и перевезли сюда. Она казалась совсем нормальной и приняла это очень спокойно. Но когда он вернулся с ней домой, она снова уцепилась за мысль о феях. Потом он сделал ещё одну попытку, но она ни к чему не привела; тогда он так это дело и оставил. Я думаю, так оно и лучше. Иной раз, когда в голове у неё проясняется, она как будто понимает, что дети были найдены мёртвыми и похоронены, и она говорит об этом разумно, спокойно задаёт вопросы и берёт с него слово, что он повезёт её на могилу в следующий раз, когда поедет в Сидней. Но это продолжается недолго, а потом ей всегда бывает хуже.

Мы зашли в бар и выпили пива. Это была неве-

селяя выпивка. Потом «угощал» Энди, и пока я пил вторую кружку, у меня мелькнула одна мысль.

— Босс был в отлучке, когда потерялись дети?

— Да,— сказал Энди.

— Странно, что вы не могли его найти.

— Да, странно; но об этом пусть он сам тебе расскажет. И, вероятно, он расскажет; с боссом всегда так — либо всё, либо ничего.

— Мне чертовски жаль босса,— сказал я.

— Ты бы ещё больше его пожалел, если бы знал всё,— отозвался Энди.— С ним стряслось самое большое несчастье, какое только может стрястись с человеком. Это всё равно, что жить с мертвецом. Это... это всё равно, что жить мужнице с мёртвой женой.

Когда мы вернулись домой, ужин был готов. Миссис Хед застали мы хлопочущей, весёлой и беззаботной. Вы бы приняли её за одну из самых счастливых и весёлых маленьких женщин в Австралии. Ни слова о детях или о феях. Она хорошо знала джунгли и расспрашивала меня о моих скитаниях. И сама рассказала несколько недурных историй из жизни в джунглях. Давно уже я не проводил время с таким удовольствием.

— Спокойной ночи, мистер Эллис,— весело сказала она, пожимая мне руку, когда мы с Энди собрались спать.— И не забудьте вашу трубку. Вот она! Я знаю, что здесь в джунглях вы любите затянуться разок-другой перед сном. Уолгер курит в постели. Я не возражаю. Если хотите, можете курить хогь всю ночь!

— Сейчас она как будто в порядке,— сказал я Энди, когда мы вошли в нашу комнату.

Он горестно покачал головой. Мы оставили дверь полуоткрытой, и нам слышен был спокойный голос босса. Потом мы услышали, как заговорила она; у неё был очень внятный голос.

— Да, Уолтер, я скажу тебе правду. Я всё вре-

мя обманывала тебя, Уолтер, но я думала, что так лучше. Не сердись на меня, Уолтер! Голоса вернулись, пока ты был в отлучке. О, как я хотела, чтобы ты приехал! С тех пор как ты дома, Уолтер, они не возвращались. Теперь ты должен побыть немножко со мной. Эти ужасные голоса всё время звали меня и лгали мне о детях. Уолтер! Они говорили мне, чтобы я покончила с собой, они говорили мне, что для тебя я обуза, и они смеялись — ха-ха-ха! — Вот так. Они говорили: «Иди, Мегги! Иди, Мегги!» Они сказали мне, чтобы я шла к реке, Уолтер.

Энди притворил дверь. Лицо у него было очень жалкое.

Мы улеглись, и могу вам сказать, что я не страдался мягкой белой постелью: в течение месяцев я спал под открытым небом, когда сменялся со сторожевого поста, спал на твёрдой земле или на песке, а в лучшем случае на охапке веток, если не слишком уставал, чтобы набрать их, и подушкой служило мне моё седло.

Но рассказ о детях преследовал меня часа два. Я так до конца и не понял, зачем босс привёл меня к себе в дом. Должно быть, он и в самом деле считал, что его жене полезно будет поговорить с юным человеком; может быть, он хотел, чтобы я понял, может быть, с годами силы стали покидать его, и иной раз он тосковал по новому сочувственному слову или рукопожатию.

Когда я, наконец, заснул, я мог бы спать дня три-четыре, но Энди разбудил меня часов около четырёх. Старуха, которую величали тётушкой, уже встала и приготовила в кухне, сделанной от остальных комнат, сытный завтрак: яйца, бэкон и кофе. Мы ходили на цыпочках и за завтраком старались не шуметь.

— Жена взяла с меня слово, что я разбужу её, и она позаботится о вашем завтраке и попрощается

с вами. Но я хотел, чтобы она выпалась сегодня, Джек,— сказал босс.— Я пройду с тобой до станции. Жена приготовила для тебя и Энди пакет с фруктами и сендвичами. Не забудьте взять его.

Энди пошёл вперёд. Мы с боссом шагали по широкой тихой улице, которая была также и главной дорогой, и ярдов двести — триста мы прошли молча. В это утро он, казалось, был не общителен и отнюдь не сентиментален, а когда заговорил, то повёл речь о скоте.

Но я должен был говорить. Я чувствовал, как что-то накапливает у меня в груди, и, наконец, я проглотил слюну и выпалил:

— Послушайте, босс, мне вас чертовски жаль, старина!

Наши руки встретились в рукопожатьи. Призрачный австралийский рассвет загорался над равнинами Батхерста.

Мы прошли ещё сотню ярдов, и тогда босс спокойно сказал:

— Меня не было дома, когда заблудились дети, Джек. В прежние времена раз в полгода или в девять месяцев я устраивал отчаянный кутёж. Мегги ничего не знала. Я ей говорил, что еду по делам в Сидней, или в глубь страны разузнать насчёт скота. Когда потерялись дети и после этого ещё недели две я зверски пил в уединённом трактире в джунглях — в лавке, где тайком торговали спиртом. Старый чорт, содержатель трактира, оказался человеком чересчур мне верным. Он подумал, что история о заблудившихся детях — ловкий трюк, чтобы заманить меня домой, и поклялся, что не видел меня. Он ничего мне не сказал. Я бы мог найти детей, Джек. Там, на станции, люди были почти все новички и дураки, а из трёх полисменов ни один не был жителем зарослей. Эти джунгли я знал лучше, чем кто бы то ни было в стране.

Снова я потянулся к его руке и пожал её. Это было всё, что я мог для него сделать.

— Прощай, Джек! — сказал он, стоя у двери служебного вагона. — Прощай, Энди! Следите, чтобы волю держались на ногах.

Поезд со скотом шёл по направлению к Голубым горам. Сначала мы : Энди сидели молча и смотрели, как кондуктор поджаривал яичницу из трёх яиц на печке посреди вагона.

— Босс никогда не ездит в Сидней? — спросил я.

— Очень редко, — ответил Энди, — да и то только по делам. Покончив дела с агентами скотоводов, съездит иной раз на кладбище Уэверлей и с первым же поездом отправляется домой.

Помолчав, я проговорил:

— Он мне рассказал о кутеже, Энди, — о том, как он кутил, когда дети заблудились.

— Вот, вот, Джек, — сказал Энди. — Это-то и убивает его с той поры, а прошло больше десяти лет.

СЛЕПОТА ОДНОГЛАЗОГО БОГЕНА

— А какова судьба Одноглазого Богена? — спросил я Тома Холла, встретившись с ним и Джеком Митчелом в позалпрошлом году на святках, когда они приехали в Сидней с чеками, заработанными стрижкой овец.

— Расспроси-ка Митчела, Гарри, — сказал Том. — Он тебе расскажет о Богене лучше, чем я. Но, кажется, сначала мы собирались выпить?

Мы свернули с Пит-стрит в Хантер-стрит, пересекли Джорж-стрит с двумя линиями трамвая, очутились на Маргарет-стрит и зашли выпить в отель Пфалерта, где к завтраку у стойки полагалась шести-

пенсовая кружка пива, а завтрак был не хуже, чем обед за шиллинг в каком другом месте.

— Займём тихий уголок,— сказал Митчел,— я хочу слышать своё кудахтанье.

Мы взяли наше пиво и расположились в прохладном местечке за маленьким столиком, стоявшим в тихом уголке среди ящиков с папоротниками.

— Одноглазый Боген был трудным субъектом,— сказал я,— правда, Митчел?

— Да,— сказал Митчел, поставив на стол свою кружку,— очень трудным.

— Никудышный он человек, правда?

— Да, никудышный,— решительно сказал Митчел.

— Я слышал, что он попался, когда передёргивал в карты.

— Слышал?— сказал Митчел.— Вероятно, так оно и было. Ну, что ж,— задумчиво произнёс он, отхлебнув большой глоток,— Одноглазый Боген больше уже не будет передёргивать.

— Почему?— спросил я.— Разве он умер?

— Нет,— сказал Митчел.— Ослеп.

— Боже мой!— воскликнул я.— Как же это случилось?

— Он потерял другой глаз,— сказал Митчел и снова прихлебнул пива.— Да, больше он не будет передёргивать... если ещё не изобретены карты для слепых.

— Как это случилось?— спросил я.

— А вот послушай, Гарри, как было дело,— сказал Митчел:— В позапрошлом году после сезона стрижки Боген пустился во все тяжкие в Бурке и впутался в очень скверную историю: его обвинили в том, что он втёрся в доверие к двум джекеру и обманом выудил у них деньги.

— Обманом выудил деньги!— повторил я.— Никогда бы я не подумал, что у Одноглазого Богена хватит мозгов заниматься такими делами.

— Оказывается, хватило, или он воспользовался чужими мозгами. Ты сам знаешь, сколько там вертится разорившихся английских джентльменов-шулеров, и у кого-нибудь из них Боген мог брать ур. ки. Самой сути дела я не знаю, его замяли, как ты сейчас услышишь, но джекеру оба клялись, что Боген вытянул у них десять квидов. Они были кокни¹ и, должно быть, считали себя умниками, но у жителей джунглей больше времени для размышлений. Вдобавок Богену помогало то, что у него был только один глаз. Он, видишь ли, всегда смотрел своим единственным глазом на то, что в эту минуту делал; будь у него другой глаз, чтобы смотреть по сторонам и отвлекать его внимание, все шансы за то, что он не попал бы в беду.

— Не отвлекайся, Джек,— сказал Том Холл,— Гарри хочет послушать рассказ.

— Ну, короче говоря, один из джекеру обратился к полиции, а Боген смылся. В ту пору он был на плохом счету, и уже заготовлена была синяя бумажка². Кажется, Боген считал это дело не таким серьёзным, каким оно было, а потому он проехал всего несколько миль вниз по течению реки и расположился со своими лошадьми на островке в устье старицы³. Хотел выждать — авось пронесёт тучу или джекеру уедут из Бурка.

Давнишний враг Богена, констэбль Кемпбелл, пронюхал, где находится его лагерь, и пустился за ним. Он проехал другой, окружной дорогой и выехал к реке там, где она соединяется со старицей, как раз против лагеря Богена на нижнем конце острова. Ты знаешь, каковы эти старицы: сухие овраги, пока не польют дожди в Куинсленде и не поднимется вода

¹ Кокни — уроженец Лондона из среды мелких служащих, ремесленников и люмпен-пролетариата.

² То есть ордер на арест.

³ Старое русло реки.

в реке. Оттуда она хлынет в старицу, разольётся и стекает обратно в реку. То место, где, по твоим расчётам, была яма, оказывается над водой, а там, где, по твоему, был холм, можно плыть в лодке. Нет мест более предательских и обманчивых, чем в старице во время половодья. Всадник хочет пересечь равнину, полагая, что вода только-только покрыла траву, и сразу попадает в глубокий канал — его здесь раньше не было — с сильным подводным течением, река Дарлинг напирает всей своей тяжестью, врываясь сюда, как в трубу. Если он не умеет плавать и лошадь его не привыкла к воде, — а иной раз если даже он и умеет плавать, — песенка его спета, и треска в реке Дарлинг ведёт следствие, пока его ещё не затянуло на веки вечные в трясицу. А кто-нибудь помещает объявление в столбце о пропавших без вести, запрашивая о Джеке таком-то, который, по последним имеющимся о нём сведениям, находится в Австралии.

— Не отвлекайся, Митчел, валяй дальше, — сказал я.

— Кемпбелл хорошо знал реку и видел, что здесь сильное течение, вот он и окликнул Богена.

— Здравствуй, Кемпбелл, — отозвался Боген.

— Ты мне нужен, Боген, — крикнул Кемпбелл. — Переправляйся сюда вместе с твоими лошадьми.

— Будь я проклят, если это сделаю! — говорит Боген. — Я не намерен простужаться насмерть даже ради спасения твоей шкуры. Если я тебе нужен, можешь переправиться сам, чорт тебя подери, и забрать меня.

Боген был прекрасным пловцом, и лошади у него были хорошие, но он не пытался удрать — должно быть, подумал, что рано или поздно придётся ему расхлёбывать кашу, — а там, в джунглях, все дни одинаковы.

Кемпбелл был никудышным пловцом, а фрисковать жизнью не имело смысла, — видишь ли, это не то, что

на войне, когда все на тебя смотрят и готовы признать трусом, если ты остался жив. Он начал спорить с Богеном, убеждал его взяться за ум, ругал его.

— Тебе непоздоровится, Боген,— сказал он,— если я должен буду переправиться через реку, чтобы забрать тебя.

— Ещё неизвестно, кому из нас непоздоровится,— сказал Боген.

— Слушай, Боген,— говорит Кемпбелл,— вот что мы с тобой сделаем: ты мне дашь слово, что сам явишься завтра в полицию, а я поеду назад и ничего об этом не скажу. Ты можешь заявить, что ничего не знал об ордере на арест. В конце концов для тебя это обернётся к лучшему. Дай мне слово.

Может быть, Кемпбелл знал Богена лучше, чем любой из нас.

— Не будь дураком, Боген,— продолжал он.— Возьмись за ум и дай мне слово, а я отправлюсь во свояси. Даю тебе пять минут на размышление.

И он вытащил часы.

Но у Богена был дрянный характер, он отказался дать слово, и Кемпбеллу ничего не оставалось, как добраться до него.

Мужества или упрямства, а это в конце концов одно и то же, у Кемпбелла хоть отбавляй. Он положил свой карабин и револьвер под поваленное дерево, потому что начал накрапывать дождь, проверил, в порядке ли наручники, пришпорил лошадь и въехал в воду. Боген зажёл палку от костра, раскурил трубку—так рассказывал впоследствии Кемпбелл—и, присев на корточки, попыхивал трубкой и поджидал его.

Как только лошадь Кемпбелла начала бороться с течением, Боген крикнул, чтобы он поворачивал назад, но Кемпбелл принял это за угрозу. А Боген увидел поваленное дерево, плившее острым расщепленным концом вперёд, и не успел Кемпбелл сообразить, где он и что с ним, как этот острый конец въе-

хал лошади в брюхо. Лошадь начала тонуть и, повалившись на бок, отбрыкивалась всеми четырьмя ногами, и Кемпбелл поторопился её бросить. Тебе известно, что в реке Дарлинг течение местами бывает ровное, а потом ты вдруг попадаешь в быстрину. (Однажды мне случилось попасть в такую быстрину, когда я купался, и я бы утонул, если бы не было мне на роду написано кончить жизнь на виселице). В такую быстрину попал Кемпбелл, как только оторвался от лошади, и его понесло вниз по течению; он плыл по одну сторону дерева, а лошадь его — по другую. Кемпбелл, как ты знаешь, толстый парень, а курточка на нём была узкая, и это ему мешало.

Его уже отнесло к нижнему концу дерева, когда он заметил торчавшую из воды ветку и ухватился за неё. Он повернулся и увидел Богена, бежавшего к мысу на островке. Как тебе известно, Боген всегда был расчётлив, и, вероятно, он решил, что ему легче будет выпутаться из беды, если он поможет Кемпбеллу. А если он не спасёт Кемпбелла, могут сказать, что он его убил. К тому же Боген был хорошим пловцом, и, стало быть, никакого особенного героизма в этом не было. Кемпбелл находился всего в нескольких футах от берега, но Боген начал раздеваться, должно быть, для того, чтобы придать всему этому более серьёзный характер. Он крикнул Кемпбеллу, чтобы тот держался, потому, мол, он спешит на помощь. Как рассказывал потом Кемпбелл, ему казалось, что Боген раздевается целый час. Течением пригибало ветку, за которую держался Кемпбелл, и вдруг его охватило чувство полной беспомощности, как будто навалившееся ему на плечи. Он заорал, призывая Богена, и выпустил ветку.

Случилось так, что Джек Борхем и я коротали время между двумя стрижками, удили рыбу и стреляли дичь на реке, плавая в лодчонке, которую Джек

смастерил из досок и просмоленного брезента. Мы окрестили ее «Весёлый гроб». Мы расположились в заводи, угкнувшись носом в берег, в нескольких сотнях ярдов ниже старицы, как вдруг Джек сказал:

— Смотрите-ка, кажется, там лошадь барахтается в реке.

Потом он крикнул:

— Нет, это человек!

И мы вывели «Гроб» на середину потока.

— Похоже на то, что два человека дерутся в воде! — закричал Джек. — Живо! Как бы они не утопили друг друга!

Мы их окликнули, и Боген стал звать на помощь. Он плыл стоя и, как настоящий пловец, толкал перед собою Кемпбелла. Услыхав нас, он тотчас поднял руки и немощно побарахтался, видно, старался раздуть всю эту историю со спасением. Но тут у меня завязло весло, и прежде чем мы до них добрались, их занесло на верхушку дерева, стоявшего под водой. Я повернул лодку и направил её так, чтобы она врезалась кормой в ветви. Боген одной рукой уцепился за сук, а другой обхватил Кемпбелла, стараясь держать его над водой. Я заметил, что лицо у Богена окровавлено — на этом дереве был сухой сук с дрянными торчащими остриями, и, вероятно, он напоролся на них лицом. Кемпбелл разевал рот, как выброшенная на берег треска, и такого бледного челоуэка я никогда ещё не видывал (если не считать одного утопленника, но того вытащили через неделю). У него хватило ума не барахтаться.

Мы спросили Богена, может ли он ещё продержаться, и он отвечал утвердительно, но сказал, что Кемпбелла он не удержит. Тогда Джек взял вёсла, а я перегнулся за корму и схватил руками Кемпбелла. Джек повёл лодку к берегу, и мы вытащили Кемпбелла на сушу. Потом мы вернулись за Богеном и забрали его.

У нас было немного виски, и Кемпбелл скоро пришёл в себя, но у Богена был глубоко рассечен лоб над здоровым глазом, и кровь из него хлестала, как из свиньи, так что мы завязали ему глаза мокрыми носовыми платками и усадили его возле поваленного дерева. Он держался рукой за глаз и стонал. То и дело он повторял:

— Я ослеп, ребята! Я ослеп! Я потерял последний глаз!

Но нам и в голову не приходило, что дело обстоит так скверно; мы всё время давали ему виски. Затем мы набрали сухих веток и разложили большой костёр. Тогда Боген встал, вытянул руки по швам и начал сжимать и разжимать кулаки, как будто боролся с мучительной болью. И впоследствии я часто думал о том, что Боген казался совсем другим человеком, когда стоял раздетый, а глаза и сломанный нос были закрыты носовым платком. Он был гладко выбрит, а рот и подбородок — самое красивое, что у него есть; к тому же он строен и хорошо сложен. Я часто думал о нём, каким он был в тот день, когда спас жизнь Кемпбеллу, — как он стоял нагой у костра и ходил на слепого бога, — было в нём что-то, напомнившее мне статую, которую я однажды видел в картинной галлерее. (Жаль, что люди не бывают слепы к недостаткам человека!)

Вдруг Джек прислушался и говорит:

— Ей-богу, нам везёт!

И мы услышали, что по реке поднимается пароход, и вскоре он показался из-за мыса, таща на буксире две баржи с шерстью. Мы доставили Богена на борт, раздобыли ему одежду, а в Бурке сошли на берег и отвели его в новую больницу.

Доктора сделали всё, что могли, но Боген навсегда ослеп. Больше ему ничего не суждено было видеть, кроме «какого-то мутного, белого расплывшегося пятна», как объяснил он нам; пожалуй, иной раз

он видел прошлую свою жизнь. Может быть, он увидел её впервые. Ну, что ж!

Давнишний враг Богена, Барку-Рот, навестил его в больнице, и Боген сказал:

— Видно, больше уж нам с тобой не драться, Барку. В последний раз ты меня отколотил: не знаю, как я теперь с тобой расквитаюсь.

— Не думай об этом, старина Боген,— говорит Барку-Рот,— Если это тебя беспокоит, пусть меня отколотит кто-нибудь другой, кого ты сам назовёшь, и вот что я тебе скажу, Боген: если с тобой я не могу драться, я буду драться за тебя — и ты это помни!

Бывало, в свободное время Барку водил Богена по городу и рассказывал ему, что делается вокруг. Мне кажется, он всегда прислушивался, не скажет ли кто хоть слово против Богена,— но кому из ребят пришлось бы в голову обижать слепого?

Дело Богена замяли. В полиции нам сказали, чтобы мы его уладили своими силами. Один из джекеру, считавший, что Боген его надул, оказался джентльменом и первый бросил квид в шапку Жирафа, когда мы устроили сбор в пользу Богена. Но второй джекеру оказался дрянью: он заявил, что ему нужны деньги, которые украл у него Боген. Свидетелей было двое, но мы их отправили во-своица, а Том Холл припугнул джекеру. У нас в союзе, как ты знаешь, Том лучше всех умел уговаривать свидетеля, чтобы тот поехал проведать свою мать.

— Чем ты припугнул этого джекеру, Том?— спросил я.

— Расскажу как-нибудь в другой раз, — отозвался Том.

— Боген всегда был хорошим сортировщиком шерсти, — продолжал Митчел, — и когда настал сезон стрижки, старик Томпсон Лысый (ты знаешь Томпсона Лысого с овцеводческой станции, Гарри) погол-

ковал кое с кем из ребят и отвёз Богена в своем экипаже на станцию. Богена посадили в конце ряда в сарае для стрижки, а мальчишка подавал ему руно. Он шупал руно и говорил, в какой мешок бросать. Постепенно он научился сам бросать руно в мешки. А няюгда Лысый приказывал отнести к Богену овцу, чтобы он пощупал шерсть и определил качество. Случалось, Лысый нарочно говорил громко, чтобы Боген мог услышать, и клялся, что Богена, хоть и слепого, он предпочитает дюжише учёных экспертов-джекеры, какие бы они ни были глазастые.

Конечно, от Богена Лысому было мало пользы, но Лысый платил ему из своего кармана два фута в неделю, да ещё один квид вносили мы все сообща, так что Боген заработал достаточно, чтобы прожить до конца года.

Занятию было следить, как быстро привыкал он ходить по сараю и управляться с едой и чаем. Народ в сарае был грубый, но каждому хотелось быть поводырём Богена, а двое даже подрались из-за этого. Лысый, да и все мы — а в особенности случайные посетители — очень интересовались Богеном, и, пожалуй, все мы немножко гордились тем, что у нас есть слепой сортировщик шерсти. Тридцать — сорок пар глаз всегда следили за Богеном, чтобы он не упал или не налетел на что-нибудь. Его раздражало, что с ним слишком уж возятся, он говорил, что ребёнок никогда не научится ходить, если ему будут всё время помогать. Он решил, что за год должен научиться большему, чем знает человек, слепой от рождения, но мы не пускали его бродить подолгу — боялись, как бы он случайно не упал в глубокий водоём.

А когда кончился сезон стрижки, приехала в Бурк жена Богена...

— Жена Богена! — воскликнул я. — А я и не знал, что он был женат.

— Никто этого не знал,— сказал Митчел.— Но он женат. Может быть, этим многое объясняется. Иной раз, когда он бывал не пьян, у меня мелькала мысль, что у него было что-то в прошлом, чем и объясняется многое в его поведении. Может быть, его заманили в ловушку... или он женился и увидел, что сделал ошибку, а это самое худшее, что может случиться с человеком...

— Ещё хуже, Митчел, если жена обнаружит, что сделала ошибку,— сказал Том Холл.

— Или ошиблись оба,— задумчиво добавил Митчел.— Ну, ладно!.. Боген женился года два-три назад. Может быть, это с ним случилось во время кутежа. Я знал, что он посылает кому-то деньги в Сидней, вероятно, он посылал ей. Как бы там ни было, она явилась, когда он ослеп. На вид это была грубая женщина — ей бы держать третьесортный трактир или заниматься тайной торговлей спиртным. Но нельзя быть судьёй между мужем и женою, если ты не жил с ними в одном доме — и не жил под одной кровлей с их родителями и предками вплоть до Адама. Во всяком случае Богена она не бросила: она сняла маленький котэдж из двух комнат, купила швейную машину и каток для белья и занялась стиркой и шитьём. Она привезла с собой малыша с рыжими волосами, и когда я в первый раз увидел, как Боген сидит на веранде и держит на коленях малыша, я подумал: «Хорошо, что он слепой».

— Почему?— спросил я.

— Потому что мальчишка-то не его.

— Откуда ты знаешь?

— Достаточно было взглянуть на него — да и на неё тоже, когда она заметила, как я посматриваю то на малыша, то на Богена.

— А чей же он?— спросил я, не подумав.

— Откуда мне знать?— сказал Митчел.— Может, и твой — для этого он достаточно безобразен, а ты

всегда был неразборчив по части женщин. Но в Бурке ты об этом молчи. А теперь ещё один малыш в походе, и я готов поклясться, что уж этот-то богемский.

Страшная штука случилась с Богеном: он начал беспокоиться о своей наружности, а тебе известно, что он не был франтом. Теперь он носит воротничок и ходит в вычищенных башмаках. Башмаки у него с резинкой, и он чистит их сам — плохо только, что он и резинку покрывает ваксой. Он многое может делать для себя сам — и гордится этим. Он говорит, что видит теперь много такого, чего не видел, когда глаза у него были целы. Редко ты услышишь, чтобы он ругался, — разве что добродушно. Он стал гораздо мягче, хотя полагает, что даже и теперь мог бы вздуть Барку, если бы тот стоял прямо перед ним и всё время орал...

— Ты не знаешь, как лишился Боген другого глаза? — спросил я.

— Заснул пьяный под дождём и застудил его, — ответил Митчел.

Неожиданно он спросил:

— Случалось тебе видеть, как плачет слепой?

— Нет, — сказал я.

— А я видел, — сказал Митчел. — Боген носит теперь круглые очки, чтобы не видно было глаз, — жена заставила его носить. Ребята часто заходят поболтать с Богеном и развлечь его, вот однажды вечером мы с ним сидели, курили и беседовали о прошлом. Вдруг он как-то притих, я смотрю, а у него из-под очков скатилась слеза и поползла по щеке. Это был не тот глаз, который он потерял, когда спасал Кемпбелла, это был глаз с бельмом, он этим глазом видел в те времена, когда его ещё не прозвали Одноглазым Богеном. Должно быть, он думал, что темно, и я не вижу его лица. (Много есть людей на свете, которые думают, что ты их не видишь, если они тебя не видят.)

Страшно я себя почувствовал — совсем как в те времена, когда я ещё что-то мог чувствовать...

— Идём, Митчел! — сказал Том Холл. — Хватит с тебя пива.

— Думаю, что хватит, — согласился Митчел. — К тому же я обещал послать телеграмму Джеку Борхему — сообщить, что его мать скончалась. Джек работает в сарае Томпсона; стрижка закончится не раньше, чем через три-четыре недели, а Джек хочет смыться так, чтобы не обидеть Лысого, приехать сюда и погулять с нами на святках.

На телеграфе Митчел взял бланк и старательно заполнил его: «Джекобу Борхему. Бурк. Немедленно приезжай домой. Мать умерла. Очень горюю. Отец при смерти. — Мери Борхем».

— Мне кажется, так будет хорошо, — сказал Митчел. — Лысый удовлетворится такой телеграммой, а Джека она не очень испугает, потому что у него нет ни сестры, ни невестки, а отец с матерью умерли десять лет назад.

— Будь я директором театра, — сказал Митчел, когда мы ушли с телеграфа, — я бы платил пять фунтов за вечер, чтобы Джек представлял с какой физиономией он пошёл эту телеграмму Лысому Томпсону.

ИСТОРИЯ МАЛАКИ

Малаки был очень высок, очень худ и очень сутул, а песочный цвет его волос постоянно требовал какого-нибудь эпитета. Все ребята считали Малаки величайшим ослом на станции, и не было никаких сомнений в том, что он и в самом деле ужасный дурак. Он никогда не покидал своих родных джуплей, за исключением одного раза, когда отправился на короткий срок в Сидней, и по возвращении его

обнаружилось, что его нервная система получила встряску. Нам ни слова не удалось вытянуть из Малаки касательно его мнения о городе — описать его было ему не по силам, ибо полученные впечатления явно превосходили его понимание. Если бы вы задали ему вопрос — даже когда его путешествие стало уже событием историческим, — что он думает о Сиднее, на лице его снова выразилось бы недоумение, он почесал бы в затылке и произнёс медленно и задумчиво:

— Да, что и говорить, это предостережение.

И поскольку речь идет о мнении Малаки, город так и остался предостережением.

Малаки всегда ходил оборванцем, хотя получал фунт в неделю и харчи, и ребята, говоря о каком-нибудь совершенно невероятном событии и назначая ему сроки, неизменно пользовались выражением: «Это случится, когда у Малаки будет новый костюм». Вечю мы потешались над Малаки, потому что смотрели на него, как на законную нашу мишень. Жаловался он редко, а когда жаловался, его протест обычно выражался в повторении одних и тех же слов: «Ну, полно, бросьте ваши шутки». Если это не производило желаемого впечатления и мы придумывали слишком уж возмутительную проделку, он ограничивался тем, что горестно бормотал с глубоким убеждением:

— Да, что и говорить, это предостережение.

Обычными шутками, как, например, зашить штанины брюк Малаки, пока он спит, прибить его койку к полу или насыпать взрывчатого вещества ему в трубку, мы не удовлетворялись: мы стремились к более высоким ступеням искусства подшучиванья. Было известно, что Малаки питает неутолимую ненависть к многосложным словам, и достаточно было прибегнуть к ним, чтобы Малаки изменил прежнее своё доброе мнение о человеке.

— Ненавижу запознанные слова, — говорил он, —

дома у меня есть книга, в которой я бы все такие слова мог отыскать, если бы захотел, но я не хочу.

Он имел в виду весьма растрёпанный словарь.

Ненависть Малаки к занозистым словам могла сравниться только с его отвращением к жепскому полу, и, зная это, мы писали ему письма женским почерком, угрожая различными судебными процессами за нарушение обещания жепиться, и употребляли вышеупомянутые занозистые выражения. Мы считали это очень забавным и, пользуясь такими средствами, сделали жизнь для него нелёгким бременем.

Малаки безоговорочно верил всему, что мы ему говорили; он готов был принять на веру самую невероятную историю, только бы мы сохранили серьёзный вид и избегали занозистых слов. Правда, иной раз он заявлял, что наши рассказы для него предостережение, но этим и ограничивался.

Самую грандиозную шутку мы с ним сыграли, когда у нас проживал один камешник, взявшийся исполнять кое-какую работёнку в усадьбе «Камешек» был отчасти френологом и достаточно смыслил в физиогномике и человеческой природе, чтобы неплохо определять характер. Занимался он также столоверчением, к великому отвращению двух древних экономок, которые заявили, что они «никакого дела не желают иметь с ним и его дьявольскими штуками».

С первого же дня Малаки почувствовал к камешнику благоговейный ужас и старательно избегал его, но как-то вечером мы заманили нашу мишень в комнату, где камешник развлекал ребят спиритическим сеансом. Пока продолжалось столоверчение, Малаки сидел с непокрытой головой и утращённым видом, а затем мы предложили, чтобы он дал освидетельствовать свои шишки. Прежде чем он успел улизнуть, его усадили на стул посреди комнаты, и камешник начал ощупывать ему голову пальцами. Я уверен, что волосы Малаки становились дыбом между его

пальцев. Всякий раз, как френолог попадал в точку, верный его поклонник Домегел восклицал: «Вы только послушайте!», а девушки хихикали и говорили: «Вот чудеса!» И время от времени слышно было, как Малаки тоном глубочайшего убеждения бормотал себе под нос: «Что и говорить, это предостережение». На следующий день мы несколько раз замечали, как Малаки, отрываясь от работы, опирался на свою лопату, надвигал шапку себе на лоб и щупал затылок, словно до сей поры не подозревал о его существовании.

Мы внушили Малаки, будто каменщик помешан на френологии, и его подозревают в том, что он убил несколько человек, чтобы завладеть их черепами для экспериментальных целей. Затем мы сказали, что он говорил, будто у Малаки необыкновенный череп, и посоветовали ему быть осторожным.

Малаки зашмал хижину в стороне от станции. Однажды вечером, накануне отъезда каменщика, когда Малаки курил у очага, дверь бесшумно распахнулась, и вошел френолог. Он нес мешок, в котором болталась тыква, сел на табурет и со стуком опустил мешок на пол между своих ног. Малаки был очень испуган, но ухитрился выговорить:

— Алло!

— Алло! — сказал френолог.

Наступило неловкое молчание, которое в конце концов Камешек прервал:

— Как поживаешь, Малаки?

— О, всё в порядке, — ответил Малаки.

Слова помолчали, наконец, Малаки, всё время ёрзавший на табуретке, спросил каменщика, когда тот намерен покинуть станцию.

— Отправляюсь в путь рано утром, — ответил каменщик. — Я только что побывал в рудатке у Джими Наулета, и вот, проходя мимо, решил зайти и забрать твою голову.

— Что такое?

— Я пришёл за твоим черепом.

— Вот здесь,— продолжал френолог, в то время как Малаки сидел, окаменев от ужаса,— у меня череп Джимми Наулета.— Он приподнял мешок и нежно пощупал тыкву; должно быть, она весила фунтов сорок.— Одну из лучших шишек я повредил томагавком. Мне пришлось ударить его дважды, но что толку плакать над пролитым молоком!

Тут он вытащил из мешка тяжёлый молот и стёр рукавом что-то похожее на кровь. Малаки, бочком пробиравшийся к двери, теперь ринулся к ней. Но лобитель черепов опередил его.

— Господи помилуй! Неужели ты хочешь меня убить?

— Пожалуй, нет, если бы мог получить твой череп каким-нибудь другим способом,— сказал Камешек.

— Ох! — вырвалось у Малаки, а затем, смутно припоминая, что сумасшедшим следует потакать, Малаки продолжал, стараясь говорить развязно и беззаботно:

— Послушай! Вот если бы ты подождал, пока я умру, тогда ты можешь получить весь мой скелет. Бери на здоровье!

— Малаки, ты что, дураком меня считаешь?— строго спросил френолог,— никаких глупостей я не потерплю! Возьмись за ум, держи себя спокойно, и всё кончится очель скоро, но если ты...

Малаки не стал ждать конца. Он бросился к задней стенке хижины и проскочил через неё, сорвав в своём бегстве большую полосу древесной коры. Затем слышно было, как он восклицал: «Это предостережение!» мчался сквозь джунгли, словно испуганный кенгуру. Остановился он, только добрав до станции.

Джимми Наулет и я подсматривали в щель в той стмой полосе коры которую сорвал Малаки; она упала на нас и ушибла, но не настолько, чтобы помешать потехе.

Когда Джимми Наулет выполз из-под коры, ему пришлось лечь на койку Малаки, чтобы нахохотаться вволю, и даже по прошествии некоторого времени Джимми случалось просыпаться среди ночи и хохотать так, что мы начинали призывать на него смерть.

Хотелось бы мне на этом и закончить, но остаётся ещё кое-что добавить к рассказу о Малаки.

Отелилась одна из лучших коров в усадьбе и по этому случаю проявляла большое беспокойство. В обычное время она была смирным, кротким животным, и хотя теперь, отелившись, и стала щершачать, но никому и в голову не приходило, что она может кого-нибудь забодать.

Случилось так, что дочка скваттера и её наречённый, щеголь из Сиднея, прогуливались по огороженному лугу, где паслась корова. То ли корове не понравился кавалер или красный зонг его дамы, то ли она их заподозрила в злом умысле против её потомства, остаётся невыясненным; как бы там ни было, она бросилась на них. Первым заметил её молодой человек и галантно наострил лыжи по прямой линии к изгороди, предоставив девушке самой выпутываться из беды. Она бы не выпуталась благополучно, если бы как раз в эту минуту мимо не проходил Малаки. Он увидел, какая опасность грозит девушке, и бросился наперерез корове, не имея при себе никакого оружия.

Всё закончилось очень быстро. Рёв, стремительная атака, облако пыли, затем из облака появилась корова и галопом помчалась в кусты, где был спрятан её телёнок.

Мы перенесли Малаки в дом и положили его на кровать. У него была страшная рана в паху, и кровь просачивалась, как вода, сквозь бинты.

Мы сделали для него всё возможное, ребята загнали насмерть лучшую лошадь скваттера и заезди-

ли ещё двух в поисках доктора, но всё это было ни к чему. За полчаса до его смерти мы собрались у кровати Малаки; ему было только двадцать два года. Он сказал:

— Не знаю, как управится теперь мать.

— Как! Где твоя мать? — осторожно спросил один из нас.

Нам никогда и в голову не приходило, что есть кто-то у Малаки, кто его любит и гордится им.

— В Батхерсте, — устало ответил он. — Боюсь, что она будет ужасно огорчена, ужас до чего она меня любила... мы с ней вместе пробивались последние десять лет... мать и я... хотели сколотить кое-что для моего брата Джима... бедный Джим!

— А что такое с Джимом? — спросил один из нас.

— Он слепой, — сказал Малаки, — родился слепым... мы хотели сколотить к тому времени, когда он подрастет... мне... мне удавалось посылать домой... фунтов сорок в год... мы купили клочок земли... и... и... кажется... я сейчас помру. Расскажи им, Гарри... расскажи им, как было дело...

Тут я должен был уйти. Дольше я не мог выдержать. Мне сдавило горло, и я отдал бы всё на свете, чтобы стереть свою долю участия в шутках, но было слишком поздно.

Когда я вернулся, Малаки был мёртв. В тот вечер шапка с чеком скваттера в тулье пошла по кругу, и кое-что мы «сколотили» для слепого брата Малаки.

ТАША ДЭВА РИНГЕНА

— Был тут ещё некий Дэв Ринген, — сказал путешественник. — Бывало, Дэв умирал чаще, чем любой из знакомых мне жителей зарослей. То и дело его

признавали умершим, а потом он снова появлялся. Ему как будто это правилось — за исключением одного раза, когда брат забрал его деньги и пропил их, чтобы утопить горе по случаю, как он выразился, «безвременной кончины» Дэва. Однажды отправился Дэв в Куинсленд с гурьом, отсутствовал три года и, по обыкновению, был признан умершим. На сей раз он утонул в Богене, пытаясь переплыть со своей лошадью разлившуюся реку, а его возлюбленная потопилась, да и выскочила замуж за человека похуже Дэва, прежде чем тот вернулся.

Пошёл я однажды поискать строевого материала, как вдруг разразилась такая страшная гроза, какая только в этих местах и бывает. Да ещё град выпал, градины величиной с пулю, и если бы я не спрятался во-время за пень и не присел на корточки, меня бы изрешетило, как... ну, скажем, как бушрэнджер¹. Всё-таки я промок насквозь. Через несколько минут гроза пронеслась, вода сбегала в овраги, и выглянуло солнце, а заросли закурились и завоняли, как новые молескиновые штаны. Я пошёл по дороге и вскоре увидел длинного, тощего парня, который влез на длинную, тощую лошадь и выехал из зарослей в конце просеки. Я сразу узнал Дэва, как только взглянул на него.

Бывало, Дэв ездил на высокой чистокровной лошади с продавленной спиной, туловище и ноги у неё были, как у кенгуровой собаки², и она кружила около вас и бочком отступала, словно боялась, что вы пырнёте её ножом.

— Алло, Дэв, — сказал я, когда он, прищиприв лошадь, подъехал ко мне. — Как поживаешь?

¹ Бушрэнджер — разбойник, живущий в австралийских джунглях.

² Особая порода собак, с которыми охотятся на кенгуру.

— Алло, Джим! — говорит он. — А ты как поживаешь?

— Хорошо! — говорю я. — Как твои дела?

Но не успели мы ещё что-нибудь сказать, как эта его лошадь бросилась в сторону и ускакала направо, в заросли. Я был уверен, что Дэв появится снова, если у меня хватит терпения ждать. И минут через десять он выехал боком из зарослей слева.

— О, у меня всё в порядке! — говорит он, прищипывая пододвинутую боком лошадь. — Как поживаешь?

— Хорошо, — говорю я. — Как твои старики?

— Я ещё не побывал дома, — говорит он, протягивая руку.

Но не успел я схватить её, как проклятая лошадь рванулась в сторону в южный конец просеки, и снова умчалась в заросли.

Минут двадцать слышно было, как Дэв ругался в зарослях, а затем он появился в другом конце просеки, прищипывая и проклиная лошадь.

— Где ты был всё это время? — спросил я, когда лошадь подошла, изгибаясь, как бумеранг.

— У Залива¹, — сказал Дэв.

— Была гроза, Дэв, — сказал я.

— Чертовская гроза! — говорит Дэв.

— Застигла тебя гроза?

— Да.

— Переждал под крышей?

— Нет.

— Дэв, но ведь ты сухой, как кость!

Дэв ухмыльнулся.

— ...и... и!.. — заорал он.

Это предназначалось лошади, когда та снова изогнулась бумерангом и ускакала в заросли. Я стал

¹ Подразумевается залив Карпентария — самый большой залив Австралии на севере Куинсленда.

ждать, но он не вернулся: должно быть, прежде чем ему удалось остановить лошадь, он забрался так далеко, что, по его мнению, уже не стоило возвращаться; тогда я пошёл дальше.

Спустя некоторое время я немного призадумался. Дэв был сухой, как кость, а я знал, что у него не было времени добраться до какого-нибудь пристанища, так как ни одного сарая нет ближе, чем в двенадцати милях отсюда. И не только он оказался сухим, но куртка его была измята и в пыли, словно он почевал в дупле. И тут я припомнил, что его лицо показалось мне более худым и белым, чем обычно, да и руки тоже, а они у него всегда торчали из рукавов куртки, и на лице была кровь, но я подумал, что его оцарапала ветка. (Дэв имел обыкновенные носовые куртки на три-четыре номера меньше своего размера, рукава только-только закрывали локти, а сзади куртка едва доходила до талии.) И волосы показались мне тёмными и прилизанными, а не рыжеватыми и торчащими, как щетина на старой щётке, какими они были прежде. Тут я вспомнил, что и голос его звучал по-иному. А когда я на следующий день навёл справки, оказалось, что никто не слышал о Дэве, и ребята решили, что, должно быть, я был пьян, или мне явился его призрак.

Дело было совсем неладно — я не на шутку встревожился. Я не мог понять, почему Дэв оказался сухим, а лошадь, и седло, и подседельник были мокрые. Я рассказал ребятам, как он разговаривал со мной, и что он сказал, и как ругал свою лошадь, но они ваявили, что это был призрак Дэва, да и всё тут. Я им сказал, что он был сухой, как кость, после того как побывал под ливнем, но они только расхохотались и объявили, что там, куда отправился Дэв, сухо. Я толковал с ними и спорил, пока ребята не начали постукивать себя по лбу и подмигивать, тогда я перестал спорить. Но думать я не перестал — я всег-

да неавидел тайны. Даже отец Дэва сказал, что Дэва нет в живых, иначе его призрак не стал бы скитаться, он заявил, что уж кто-кто, а он знает Дэва. А потом подвернулись еще два-три парня, которые примерно в то же самое время видели Дэва, и тогда ребята сказали, что, конечно, Дэв умер.

Но в один прекрасный день, когда мы всей компанией играли в орлянку возле барака, один парень заорал:

— Тысячи чертей! Вон едет Дэв Риген!

Я поднял голову и увидел, что Дэв собственной персоной выехал бочком из облака пыли, сидя верхом на длинной, тощей лошади. Он въехал во двор, слез с седла, привязал лошадь к столбу, опустил перекладину ворот и двинулся к нам, расплывшись в улыбку шириной в пол-акра. У Дэва были длинные, тонкие кривые ноги, а ходил он по земле так, как будто катился на роликах.

— Ал-ло, Дэв! — говорю я. — Как живёшь?

— Алло, Джим! — сказал он. — Тысяча чертей, как поживаешь?

— Хорошо! — говорю я, пожимая ему руку. — Как поживаешь?

— О, прекрасно! — говорит он. — Как дела?

Когда мы так поговорили, и другие ребята осведомились, как он поживает, Дэв сказал:

— Ну, ладно! Пойдём, выпьем.

И все ребята поползли за ним, свернули за угол и ввалились вслед за Дэвом в бар. Потолковали обо всём, и он нам сказал, что уже заезжал сюда, но уехал, никого из нас не повидав, кроме меня, потому что случайно услышал о стаде рогатого скота, которое пригнали на одну станцию в двухстах милях отсюда. А темного погода я отвёл его в сторону и сказал:

— Послушай, Дэв! Помнишь ты тот день, когда я тебя встретил после грозы?

Он почесал в затылке.

— Да,— говорит,— помню.

— Ты тогда укрылся от дождя под крышей?

— Нет.

— Тысяча чертей, так как же ты не промок?

Дэв ухмыльнулся, а потом говорит:

— Когда я увидел, что быть грозе, я разделся, а одежду спрятал в дупло, там она и лежала, пока не прошёл дождь.

— Так-то оно и было,— сказал он, когда ребята досыта нахохотались, а я ещё размышлял, — платье моё осталось сухим, а я принял славный освежающий душ.

Тут он почесал мизинцем в затылке, челюсть у него отвисла, и он призадумался. Потом с сосредоточенным видом потёр макушку и плечо и сказал:

— Но только я не рассчитывал, что будет град, чорт бы его побрал!

РАСКВИТАЛИСЬ С ДЭВОМ РИГЕНОМ

(Со слов Джемса Наулета, погонщика волов)

Можешь сделать из этой истории рассказ. Я часто подумывал заняться этим, но мне нехватает слов. Я знал много чудных и забавных историй о жизни в джунглях, и частенько жалел, что нет у меня дара писать. Я бы мог порассказать куда более занятные истории, чем та чепуха, какую печатают шюй раз в книжках, но я никогда ничему не обучался. А тебе, может быть, удастся сделать из этого, как ты говоришь, рассказ.

В те времена, когда железная дорога ещё не дошла до Даббо, погонщики, бывало, делали привал млях в шести-семн за Муджи, в местечке, называв-

шемся Старая Трубочная Глипа, и почти все мы рас-
люлагалнсь там на почлег. В речке всегда была хоро-
шая вода, и ншогда мы пускали волов пастнсь в го-
рах и ущельях и останавлнвались на несколько днсь.
Стнраем, бывало, бельё, кладём заплаты или сделаем
повое ярмо и почннем телету.

Жила там на ферме одна женщина, звали её мис-
снс Хардуик, и фамилия была по ней¹. Её мужа,
Джнмми Хардунка, сбросила лошадь в тот день, когда
он не был пьян; он ударился о пень и разбился па-
смерть, а она осталась вдовой. У неё был спосный
клочок земли, и славный фруктовый садик, и ви-
ноградник, была у неё и скотнша, и, говорят, в банке
у неё лежала кругленькая сумма денег. Такого злого
языка, как у неё, не было во всей округе, па каждого
она могла нвесть что наговорнть, но она была не
стара и не уродина — только очень груба — и кое-
кто из ребят увнвался вокруг неё. А Дэв Рнген
прнвнзывал свою лошадь к её изгородн чаще, чем
всякнй другой. Дэв был уроженец Австралии, жн-
тель джунглей, гуртовщнк и золотонскатель, а серд-
це у него в ту пору было мягкое — после-то он
очерствел.

Мнсснс Хардуик ненавндела погонщнков волов —
вндеть их не могла — не знаю почему. Её кур мы нн-
когда не трогали, ну а что касается до руганн так
она сама ругалась отменно. Джнмми Хардуик был по-
гонщнком волов, когда она пошла за него замуж,
должна быть, потому так оно и полунлось. Вскнпя-
тнть котелок у неё на кухне, — и этого она нам не
позволяла, хотя все женщины в джунглях ннкогда нам
не отказывали, а если однн из наших волов просовы-
вал морду под перекладншу её изгородн, чтобы по-
щнпать траву, она напускала на него собак. Как-то

¹ Hard — жёсткий, грубый; wick — фитиль, све-
тнльня.

одна собака съела что-то, пришедшееся ей не по нутру, а миссис Хардунк обвинила нас в том, что мы подбросили отравленную приманку. А затем она загнала к себе в загон наших волов, которые забралась на её участок, засеянный люцерной, в ту ночь, когда мы кутили в Муджи, и содрала с нас немалую сумму за причинённый убыток. Я думаю, она нарочно оставила перекладные изгороди опущенными. Она хотела науськать на нас полицию, как будто мы занимались тайной торговлей спиртным. (Если бы она сама держала такую лавочку, она была бы совсем другого мнения о погощниках волов.) И все погощники её ненавидели, потому что она их ненавидела.

Выдался такой дождливый сезон, что мы, человек шесть погощников, раскинули там лагерь на две недели: дороги так развезло, что нельзя было проехать. И вот однажды устроили мы вечеринку с танцами в трактире Питера Эндерсона за горным хребтом, и хотя лил дождь, девушки и парни съехались со всей округи. Кто-то подшутил над Дэвом Ригеном, сказав ему, что и матушка Хардунк собирается на вечеринку, и Дэв, разумеется, явился, хотя у него зверски болел зуб. Он всегда задирал нос перед нами, погощниками волов.

Ночь была очень холодная, лица и руки замерзли, вот мы и растопили хорошенько очаг в большой кухне из древесной коры и горбылей, где начались танцы. Очаг был огромный, старомодный, обмазанный глиной, он занимал угол комнаты, а наружу выходил двадцатипятифутовый дымоход из горбылей и жести.

Дэв Риген здорово разозлился, что его одурачили, да к тому же мы разобрали всех девушек, и ему не осталось ни одной, а когда он не ковырял в зубе докрасна раскалённой проволокой, кто-нибудь дразнил его матушкой Хардунк. Наконец он совсем взбесился

и ушёл. Но, прежде чем уйти, он взял мокрый мешок из-под муки, вмещавший три бушеля, взобрался потихоньку на крышу и аккуратненько прикрыл этим мокрым мешком отверстие дымохода.

Битый час мы старались угадать, что случилось с этим чортовым дымоходом; и прибывали у входного отверстия вверху очага куски жести и засовывали туда тряпки, чтобы перестало дымить, а у девушек слёзы так и катились из глаз. Мы вытащили сырое полепо из очага и вместо него положили сухое, но дым повалил ещё пуще, и кончилось тем, что пришлось залить огонь, а девушки сидели и дрожали. Потом дождь ненадолго перестал, небо прояснилось, и кто-то вышел во двор, задрал голову вверх и крикнул:

— Смотрите! Там что-то лежит на этой проклятой трубе!

Тут другой парень полез на крышу и спустился оттуда с мешком. Но вечеринка была испорчена, и девушки так расстроились, что поскорей уехали со своими парнями, пока не было дождя. Они решили, что кто-то из нас, погонщиков, устроил такую штуку потехи ради.

А потом Дэв проезжал, бывало, мимо нашего лагеря и спрашивал, знаем ли мы какое-нибудь хорошее лекарство для больного дымохода, и задавал разные вопросы в таком духе. Но он всегда успевал отъехать, прежде чем нам удавалось стащить его с лошади. Однажды мы втроём гнались за ним верхами, но так и не догнали.

Наконец мы решили расквитаться с Дэвом Ригеном, и вот какой подвернулся нам случай.

Примерно через полгода, после того как нас выкурили с вечеринки, мы — четверо или пятеро ребят из той же компании — снова раскинули лагерь в Трубочной Глине. Стояла засуха. Сушь и жара были ещё похуже, чем холод и слякоть в прошлой сезон. Дэв всё ещё вертелся на ферме миссис Хар-

дунок и оказывал ей разные услуги. В очень жаркий день увидели мы Дэва, проезжавшего мимо нашего лагеря по направлению к Муджи. Мы знали, что почью он будет кутить в городе, а на следующий день придёт искать сочувствия у миссис Хардунк. Часа через два показалась почтовая карета с Томом Таррентом на козлах; он передал нам письма, газеты и мешок с разной бакалеей.

Том был несюсный парень. Помню, шёл я однажды с упряжкой волов по пустышной дороге, утро было прекрасное, и на душе у меня было весело, и начал я петь и говорить стихи, которые всегда собирался сказать на какой-нибудь вечеринке. (Я никогда не пел и стихов не говорил, если не знал наверняка, что на много миль вокруг не было ни души.) Я разгорячился, размахивал руками, колотил себя в грудь, как вдруг из-за поворота дороги выехала карета Тома и застигла меня врасплох. А Том посмотрел на меня очень пристально и говорит:

— Что это ты так орёшь, ругаешься и приплясываешь, Джимми, и за что ты напустился на волов? Мне кажется, они работают неплохо.

Должен тебе сказать, что я опешил. Карета была битком набита ухмыляющимися пассажирами, а хуже всего было то, что я не знал, сколько времени Том ехал потихоньку за мной, пока я тут надрывался. Для парня, не умеющего петь, ничего не может быть хуже, как попасться в то время, как поёшь или говоришь стихи, воображая, что ты одинишешенек.

Передав провизию и письма, Том слез с козел, чтобы размять ноги и дать лошадям передохнуть. В карете было много пассажиров, и я заметил, что вид у них очень мрачный и надутый, но я приписал это жаре и пыли. И Том был что-то уж очень серьёзен, и все молчали. Вдруг я почувствовал что-то такое в воздухе, как будто неподалеку валяется падаль,

и товарищи мои тоже начали пришохиваться. Кстати сказать, странное это дело: почему, когда чем-нибудь воняет, люди всегда пришохиваются вместо того, чтобы зажать себе нос? И чем сильнее воняет, тем больше они пришохиваются.

Том сплюнул на пыльную дорогу и призадумался. Потом вытащил из-за голенища какой-то сверток и положил его на угловой столб изгороди.

— Вот это,— говорит,— свежая рыба, доставленная вчера вечером из Сиднея поездом и почтовой каретой Кобба и компания. Предназначается она Уайту, трактирщику в Гулгонге, но такой жары ей не выдержать, пока я туда доберусь. Жаль выбрасывать. Может, вы, ребята, съедите. Я скажу Уайту, что она протухла и пришлось её выбросить.

Потом он влез на козлы, погнал лошадей и скрылся в облаке пыли. Мы развернули обёрточную бумагу; рыба была уложена в маленький деревянный ящичек с защёлкивающейся крышкой. Защёлку мы отодвинули, крышка отскочила, и вот тут-то мы сразу узнали, откуда шёл запах. Чего уж тут сомневаться! Нам незачем было совать нос в ящик, чтобы узнать, не протухла ли рыба. Она была пересыпана солью, но это ей не помогло.

Ты знаешь, как оно бывает в зарослях в жаркий, безветренный день: вдруг откуда ни возьмись — запах, потом как будто и нет его, а потом завоняет ещё пуще. Ты можешь стоять близёхонько от лошади, которая пала две недели назад, и ничего особенного ты не почувствуешь, пока не отойдёшь от неё, и чем дальше ты отходишь, тем сильнее воняет. Запах бывает сильнее всего на расстоянии ста ярдов по кругу. Но эта рыба воняла и в самом центре круга.

После уже Том Таррент рассказал нам, что рыба завоняла, как только он выехал из Муджи. Сперва решили, что где-нибудь при дороге валяется павшая лошадь, но спустя некоторое время пассажиры на-

чали подозрительно коситься друг на друга, и разговор оборвался. Тому казалось, что все сверлят ему глазами спину, и ему стало не по себе. Он сидел смирно и старался разобраться, откуда идёт этот запах, а с каждой сотней ярдов запах становился всё сильнее и сильнее, как будто дорога была устлана павшими лошадьми и каждая следующая лошадь провалялась здесь дольше, чем предыдущая. Наконец почувствовал он себя так, словно ехал во главе похоронной процессии. Ни разу не пришла ему в голову мысль о том, что вишювата во всём эта рыба, пока он не начал слезать с козёл, чтобы размять ноги, а тогда его нос случайно очутился на уровне сапога.

Мы поскорее захлопнули крышку ящичка, отнесли дальше от лагеря и забросили в кусты. Но утром, когда мы завтракали, Билли Гримшоу осеинло. Позавтракав, он смочил водой парусиновый мешок, раскуртил трубку, исчез и скоро принёс этот ящичек с рыбой. Он положил его в мокрый мешок, завернул поплотнее и обвязал крепко-накрепко верёвкой. С Билли был его племянник, мальчишка лет четырнадцати, по имени Томми, на редкость шустрый мальчуган. Вот Билли и говорит ему:

— Слушай, Томми, ты отнесёшь эту рыбу миссис Хардунк и скажешь, что Дэв Риген посылает ей этот ящичек вместе со своим поклоном и надеется, что она с удовольствием покушает рыбы. Скажи, что Дэв привёз её из Муджи, но ему пришлось вернуться назад за банковым билетом в фунт стерлингов, который выпал у него из дырявого кармана где-то по дороге. Вот он и попросил тебя передать ей рыбу.

Томми взял рыбу и отправился с ней на ферму. Вернувшись он рассказал, что миссис Хардунк улыбнулась ему, как священник, а ждать он не стал.

Мы следили за домом и примерно через полчаса

увидели, как она выбежала из кухни, держа в руке раскрытый ящичек, отбежала подальше от дома и швырнула рыбу в кусты, а потом так же быстро помчалась обратно, зажимая нос.

На наше счастье, как раз в эту минуту показался Дэв Риген, ехавший от речки по направлению к дому. Он спрыгнул с лошади, вошёл в кухню и тотчас же выскочил оттуда, пятясь задом, а миссис Хардунк на него наступала. До нас доносился её голос, но слов мы не могли разобрать. Зато нам видно было, как она размахивала руками, как будто отгоняла кур, а Дэв лятился, пока не добрался до своей лошади. Он вскочил на неё и помчался, а она визжала ему вслед. Когда он сошёл с лошади около нашего лагеря, мы окликнули его, чтобы узнать, в чём дело.

— Чем это ты, Дэв, так обидел миссис Хардунк? — спрашиваем мы. — Мы слышали, как она на тебя напустилась.

— Будь я проклят, если что-нибудь понимаю! — восклицает Дэв. — Ничего я ей плохого не сделал. Она обозвала меня всякими скверными словами, какие только приходили ей в голову, и кричала что-то про какую-то мою вонючую рыбу. Я ровно ничего не понимаю. По-моему, она рехнулась.

— Нет, видно, ты чем-то эту женщину обидел, — говорим мы, — не стала бы она набрасываться на тебя ни с того, ни с сего.

Но Дэв клялся, что ничего ей не сделал, а мы принялись обсуждать это дело, но ни до чего не додумались и порешили, что с ней приключился лёгкий солнечный удар.

— Не горюй, Дэв, — сказали мы ему. — Загляни к ней денька через два, когда она остынет, и разузнай, в чём дело. А не то — напиши ей. Может, кто-нибудь вздумал подложить тебе свинью. Наверно, так оно и есть.

Но Дэв только потирал себе голову, а потом отправился во-свояси. Ему хотелось недельку поразмыслить без помех.

— Может быть, у неё дымил очаг, Дэв! — крикнули мы ему вслед, но он был так ошарашен, что ничего не разобрал.

Месяца через два мы снова раскинули там лагерь и узнали, что миссис Хардунк перегородила дорогу к речке, хотя никакого права на это не имела, и теперь мы должны были гонять волов на пастбище и водопой лишник две мили окружной дорогой.

В первое же утро мы увидели, как она загощила тёлку в дальний конец своего загона близко от нашего лагеря, и Билли Гримшоу подошёл к изгороди и заговорил с ней. Один только Билли из всех нас не боялся иметь с ней дело, и он же был единственным погонщиком, которому она не говорила грубостей — быть может, потому что один глаз у него косил, а на другом было бельмо, и это её смущало.

Билли очень почтительно снял шляпу и говорит:
— Миссис Хардунк!

(Кстати сказать, те волы, которых она задержала в своём загоне, были из упряжки Билли.)

— Что такое? — отозвалась она.

— Я хочу поговорить с вами, миссис Хардунк, — говорит Билли.

— Ну, говори скорей, — сказала она. — Некогда мне тут болтать с погонщиками волов.

— Дело вот в чём, миссис Хардунк, — говорит Билли, — я хочу кое-что вам объяснить и принести извинения за этого негодного мальчишку, моего племянника Томми. Его здесь нет, а то бы я его заставил просить у вас прощения или разрубил бы на куски моим бичом. Я узнал о том, что Дэв Риген послал вам протухшую рыбу, и, по-моему, это гадость и низость с его стороны — посылать вонючую рыбу жен-

щине, да к тому же ещё вдове, не имеющей защитника. У меня у самого есть мать и сёстры. И вот что я хочу вам сказать, миссис Хардунк: мне жаль, что мой родственник участвовал в таком деле. Как только я об этом услышал, я задал Томми такую трёпку, которую он нес скоро забудет.

— А Томми знал, что рыба протухла?— спросила она.

— Это мне всё едино, хотя бы он и не знал,— говорит Билли.— Он никакого права не имел исполнять чьи-то поручения.

Миссис Хардунк призадумалась, а потом сказала:

— В конце концов Дэв Ринген, может быть, не знал, что рыба протухла. У меня часто мелькала мысль, что, пожалуй, я слишком погорячилась. Продукты так быстро портятся в такую жару. А Дэв всегда был очень услужлив. Понять не могу, почему ему вздумалось устроить мне такую пакость! Я ничего плохого ему не сделала.

Я забыл тебе сказать, что, по мнению Билли, Дэв помогал ей в тот раз загонять его волов в её загон, но я этому не верил. Вот Билли и говорит:

— Не думайте этого ни минуты, миссис Хардунк! Дэв прекрасно знал, что делает, и попадись он только мне, я сам с него шкуру спущу, если ни у кого не нашлось мужества выступить на защиту женщины!

— Откуда ты знаешь, что Дэв знал?— спросила миссис Хардунк.

— Ещё бы ему не знать!— говорит Билли.— Да ведь он болтал об этом по всей округе!

— Как!— взвизгнула она, а я отошёл подальше от изгороди, потому что в руках у неё была палка; которой она загоняла тёлочек.

Но Билли устоял на месте.

— Это правда, Билли Гримшоу?— визжала она.

— Да,— говорит Билли,— в этом я могу поклясться. Он трубил по всей округе, как будто это очень смешно, и он говорил...

Тут Билли зашнурлся.

— Что он сказал?— крикнула она.

— Да мне что-то не хочется повторять это при леди,— говорит Билли.— Мне бы не хотелось говорить вам, миссис Хардунк.

— Но ты должен мне сказать, Билли Гримшоу! — визжит она.— Я имею право знать! Если ты мне не скажешь, я притяну его к суду на будущей неделе, а из тебя, как из свидетеля, выковыряю всё до последнего слова. Уголовный суд живо с ним расправится. Что сказал этот негодяй?

— Ну, что ж,— говорит Билли,— раз уж вы хотите знать... и пусть меня повесят, если я буду стоять и смотреть, как женщину позорят за её спиной... раз уж вы хотите знать, я, так и быть, скажу вам. Дэв сказал, что рыба вопяла не хуже, чем вопяет у вас в доме.

И тогда мы оттуда ушли. Слишком уж она разошлась. Я не могу повторить, что она говорила — у меня нехватает слов. Она пошла к дому, и мы увидели, что работник запрягает лошадь: значит, она собиралась ехать напрямёхонько в город, чтобы подать в суд на Дэва Ригена. И вот тут-то появился верхом сам Дэв — по обыкновенно, в ту самую минуту, когда он был нужен. Теперь он всегда проезжал мимо дома миссис Хардунк, не останавливаясь, но Билли крикнул ему вслед:

— Эй, Дэв! Я хочу поговорить с тобой!

И Дэв повернул лошадь.

— В чём дело, Билли?— спрашивает он.

— Слушай, Дэв,— говорит Билли,— ты тогда над нами подшутил с этим дымоходом, а мы над тобой подшутили с рыбой и миссис Хардунк, и, стало быть, мы расквитались. Шутка дело неплохое, но нужно со-

блюдать меру, а здесь всё накалилось докрасна. Вот мы и уладили это дело с миссис Хардуик.

— Какая рыба и какая шутка?— спрашивает Дэв, потирая голову.— И что такое вы уладили с миссис Хардуик? О чём ты толкуешь, Билли?

Тогда Билли рассказал ему всю правду о том, как мы послали к миссис Хардуик Томми с протухшей рыбой и сказали, что эту рыбу посылает ей Дэв. А Дэв всё время потирал затылок и пялил глаза на Билли.

— И теперь,— говорит Билли,— я уже не буду помнить о моих волах. А сегодня утром я пошёл к миссис Хардуик и открыл ей всю правду про эту рыбу. Я просил извинения и сказал, что мы очень сожалеем, а она сказала, что она тоже очень сожалеет — из-за тебя — и хочет тебя видеть. Я обещал передать, как только тебя увижу. Это дело нужно уладить. Ты должен сейчас же пойти на ферму и повидаться с ней. Она ужасно расстроена.

— Ладно!— просняв, сказал Дэв.— Вы сыграли скверную, гнусную шутку с товарищем, но я пойду и повидаюсь с ней.

И он тотчас повернул лошадь к её дому.

Примерно спустя четверть часа он выбежал через заднюю дверь и бросился в одну сторону, а его лошадь — в другую. Лошадь вела себя так, как будто её насмерть испугали, и такой же вид был и у Дэва. Билли погнался за лошадьёю и привел ее, а я дал Дэву полотенецце обтереть лицо, волосы и воротничок, залитые помоями, и ещё дал ему кусочек мыла потереть ошпаренные места.

— Видно, у этой женщины буйное помешательство,— говорю я.— Что ты ей опять сказал, Дэв? Вечно ты попадаешь с ней в беду.

— Ничего я ей не сказал,— говорит Дэв.— Я подошёл к ней, посмеиваясь, и говорю: «Здравствуйте, миссис Хардуик!» А она как вскочит да как выпле-

снет на меня помои из таза, а потом зачерпнула ковшом жирной воды из котла, горячей, как кипятки, и тоже на меня вылила. По-моему, она окончательно свихнулась.

— Что и говорить, буйная помешанная! — сказал Билли Гримшоу. — Ты больше не ходи туда, Дэв, это опасно.

Потом мы дали Дэву шляпу и чистую рубашку, и он поехал в город.

— Ты бы не должен был потакать её капризам! — крикнул Билли, когда Дэв отъехал. — Ты бы ей сказал, чтобы она заткнула дымоход мокрым мешком и повесила рыбу коптиться.

Но Дэв был так ошеломлён, что ничего не слышал. Он приехал в город и закутил, как чорт. А потом, пока он протрезвлялся, стали у него мелькать догадки. И в следующий раз, когда он встретил Билли, они подрались. Дэв послал какую-то женщину к миссис Хардуик для переговоров, а миссис Хардуик поймала мальчугана Томми, когда тот проходил мимо её дома, стала его допрашивать и запугала так, что вытянула из него всю правду.

— Слушай! — сказала она ему. — Я хочу знать правду, всю правду и только правду об этой рыбе, и если ты мне её не выложишь, я тебе сверну шею и спасу тебя от виселицы!

Вот что сказала она Томми.

Тогда он рассказал ей всю правду, да поможет ему бог, и убежал. И с той поры он стал уважать миссис Хардуик.

А когда мы в следующий раз проезжали с упряжками мимо фермы миссис Хардуик, лошадь Дэва была привязана к изгороди, и мы проехали ещё несколько миль по дороге и раскинули лагерь в другом месте, где нам было гораздо удобнее. И с той поры мы всегда погоняли волов и проезжали мимо её дома, как будто не были знакомы с ней.

ЖЕНЩИНЫ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

У него была ферма на длинном склоне горного хребта, поросшем самшитовыми деревьями, примерно в полумиле в сторону и в гору от проезжей дороги. О каких бы то ни было соседях его я никогда не слышал, а ближайший «город» находился на расстоянии тридцати миль. Он сеял пшеницу среди пней на своём расчищенном участке, продавал урожай на корню мелкому фермеру с выводком сыпучей, жившему в десяти милях от него, или иной раз собственноручно снимал урожай, обмолачивал его с помощью strapствующего «паровичка» (маленькая паровая молотилка) и перевозил зерно на расшатанной телеге на мельницу, забирая каждый раз по несколько мешков.

Жил он один пятнадцать с лишком лет и был известен тем, кто его знал, как «свихнувшийся Хаулет».

Путешественники и люди посторонние не замечали у него никакой особенной придури. Все знали, или, вернее, предполагали, не доискиваясь правды, что он, занятый своей работой, держал лошадь осёдланной и взнузданной и привязывал к изгороди или оставлял пастись под седлом — во всяком случае она всегда была у него под рукой, — и стоило ему заметить, глянув поверх кустов и вдоль тянувшейся на четверть мили просеки, какого-нибудь путника на дороге, как он вскакивал на свою лошадь и гнался за ним. Если тот ехал верхом, он обычно нагонял его на протяжении миль. Ходили анекдоты о неудачной погоне, о неприятностях и недоразумениях, возникавших из этой машины Хаулета гоняться за путешественниками и задерживать их. Иногда он ловил по одному каждый день в течение недели, иногда не попадалось ни одного в течение нескольких недель — это был глухой тракт.

Объяснение было простое, исчерпывающее и вполне естественное — с точки зрения обитателя зарослей. Просто-напросто свихнувшегося хотелось побеседовать. Он и путник усаживались на полчаса в тени, беседовали и курили. Старик допытывался, откуда пришёл путник, сколько времени там пробыл, куда держит путь и, долго ли намерен пробыть в отсутствии; спрашивал, перепали ли дожди на обратном пути, и какова земля после засухи; выпытывал мнения путешественника по отвлечённым вопросам, если таковые у него были. Если ему попадался пешеход (свегмен), нуждавшийся в табаке, у старика Хаулета всегда находилось для него с полпачки.

Рассказывали, что после беседы у обочины дороги старик возвращался освежённый на свою уединённую ферму и работал до поздней ночи, — до тех пор, пока ещё мог разглядеть свою единственную рабочую лошадь или конец лопаты с длинной рукояткой.

Вот так-то и я завязал знакомство с ним, или, вернее, он со мной. Я ехал лёгким галопом по тракту — я держал путь на северо-запад с выюпной лошадью, — когда на расстоянии миль от поворота к ферме услышал: «Эй, микстер!» и увидел следовавшее за мной облачко пыли. Я уже слышал о «свихнувшемся старом Хаулете» и потому был подготовлен к встрече с ним.

Высокий худой человек на маленькой лошадке. Он был чисто выбрит, только из-под подбородка росла бахромой круглая борода, а длинные волнистые тёмные волосы тронула седина: человек прямой, с энергичным лицом, он мне напомнил en face, больше чем кто другой, портрет Гладстона. У него были большие, красновато-карие глаза, глубоко сидевшие под тяжёлыми бровями и чём-то напоминавшие глаза австралийского негра. Такие глаза всматриваются в какую-то точку на горизонте, кото-

рую никто другой увидеть не может. И была у него манера говорить, обращаясь не столько к собеседнику, сколько к горизонту, а лоб пересекала глубокая вертикальная морщина, которую никакая улыбка не могла разгладить.

Я сошёл с лошади, достал трубку, и мы уселись на бревно и побеседовали на разные темы, интересующие обитателей джунглей; а затем после паузы он смущённо заёрзал, как показалось мне, и спросил отрывисто и изменившимся тоном, жепат ли я. Задавать такой вопрос путешественнику странно, в особенности странно было задавать его мне, так как в ту пору я был почти юнцом.

Слова он повёл речь о былых временах и о тех местах, где мы оба жили, расспрашивал о людях ему знакомых, вернее, о тех, кого когда-то знал, о погонщиках скота и о других, спрашивал, живы ли они ещё. Большая часть вопросов относилась к тем временам, когда меня здесь не было, но кое-кто из погонщиков и двое-трое бродяг, бывших его товарищей, были теперь стариками, и я их знал. Сейчас я припоминаю, хотя тогда не обратил внимания — а если бы и обратил, это не показалось бы страшным с точки зрения обитателя джунглей, — что он не расспрашивал о новостях и как будто не интересовался ими.

Потом, снова после неловкой паузы — в это время он чертил палкой кресты в пыли — он спросил меня всё тем же страшным тоном, не глядя на меня и не поднимая глаз, разумею ли я что-нибудь в лечении, учился ли я когда-нибудь.

Я спросил, не болен ли кто у него на ферме. Он замаялся и сказал «нет». Тогда я поинтересовался, почему он задал мне этот вопрос, а он так долго не отвечал, что я начал подумывать, не туговат ли он на ухо. Но вот, наконец, он забормотал что-то о моём лице, будто я похож на его знакомого, моло-

дого человека, который поехал в Сидней «учиться на доктора». Это было вполне вероятно и казалось естественным, но почему же он не спросил меня прямо, тот ли я парень, «его знакомый»? Путники, завязав разговор, не любят бродить вокруг да около.

Долго он сидел молча, сложив руки и рассеянно глядя поверх мёртвой глади великих джунглей, простиравшихся от подножья хребта, где мы сидели, до того места, где две-три синих вершины дальнего горного кряжа поднимались над кустарником на горизонте.

Я встал, спрятал трубку и потянулся. Тогда он словно проснулся.

— Вернёмся-ка в мою хижину и перехватим чего-нибудь, — сказал он. — Хозяйка, верно, уж приготовила обед, а я вам уделю охапку сена для лошадей.

Вопрос был решён благодаря сему. Стояла засуха. Я с удивлением услышал о жене, я думал, что он живёт один, — так мне о нём говорили; но, может быть, я ошибался, и он недавно женился или взял себе экономку. Ферма занимала неправильной формы расчищенный участок в зарослях, здесь было много пней, спереди сломанная изгородь из двух перекладин, дальше — несколько чурбанов. Такого заброшенного участка я ещё не видывал, а мне случалось видеть глухие, богом забытые дыры, где одиноко жили люди.

Хижина находилась в верхнем углу участка, двухкомнатная хижина из горбылей, крытая дранками, которые в те дни, когда строилась хижина, должно быть, были в диковнику в этих краях. Я был знаком с плотничьей работой в джунглях и видел, что дом построен человеком, у которого вся жизнь и надежды впереди, и спрнул он не только для себя. Но две комнаты в задней половине дома остались недостроен-

шамп; столбы, балки, подпорки были устаканены и прилажены, и стены из горбылей возведены, по пристройка так и стояла без крыши. Ничего в этих стенах не было, только чертополох да крапива; старый деревянный плуг для волов и два-три ярма гнили у задней двери. Остатки стога соломы, козна сена, прикрытая корой, маленький железный плуг и старая, словно одеревяневшая, серая рабочая лошадь — вот всё, что увидел я около хижины.

Но в доме меня ждал сюрприз — чистая белая скатерть на простом столе из горбыля, который стоял на вбитых в землю столбиках. Скатерть была грубая, но это была скатерть — не запасная простыня, посланная в честь неожиданных гостей, — и безусловно чистая. Оловянные тарелки, миски, жестянки из-под джема, служившие сахарницами и солонками, начищены были до блеска. Стены и очаг были побелены, глиняный пол подметён, а на деревянной полке над очагом, застланной чистыми газетными листами, выстроились в ряд жестянки из-под сухарей с разной бакалеей. Я подумал, что его жена или экономка, или кто бы она там ни была, — женщина аккуратная и домовитая. Однако никакой женщины я не видел, но на диване — это был лёгкий деревянный диван из дранок с ручками-перекладинами на обоих концах — на старых запятнанных и выцветших газетах лежало женское платье. Он посмотрел на него с недоумением, наморщив лоб, потом взял и стал складывать. Тут я разглядел, что это был жакет и амазонка. Он завернул их в газетные листы и унёс в спальню.

— Жена собиралась сегодня в гости к кому-то в низовьях реки, — сказал он быстро, не глядя на меня, и наклонился, словно хотел ещё посмотреть в открытую дверь на те дальние вершины. — Должно быть, ей надоело ждать, и она ушла и забрала с собой дочку. Ну, не беда, обед готов.

В походной печке шипела баранья нога с картофелем, и котелки висели над огнём. Я заметил, что котелки выскоблены и крышки вычищены.

Во всём этом было что-то странное; впрочем, он, может быть, повздорил сегодня утром с женой. Эта мысль мелькнула у меня за едой, когда речь шла о женщинах, и он сказал, что никогда не знаешь, как подойти к женщине; но в его словах не было ничего такого, что относилось бы именно к его жене или вообще к какому-нибудь определённом лицу. Он говорил о старых временах, о работе погонщиков, золотонискателей, о старых разбойничьих шайках в австралийских джунглях, — но не заикался о живом и о живых, разве что кое-кто из старых его товарищей, о которых он рассказывал, случайно ещё здоровствовал. Ему не сиделось в доме, и он даже не снял шляпы.

На стене у двери висело женское платье и старая шляпка, но вид у них был такой, как будто они провисели здесь всю жизнь. Что-то странное было в этом доме — чего-то нехватало; впрочем, во всех заброшенных домах в джунглях возникает такое чувство, будто чего-то нехватает, или, вернее, будто в них обитают призраки вещей, которым следовало бы здесь быть, но которых никогда не было.

На обратном пути к тракту я оглянулся и увидел старика Хаулета с его длинной лопатой, усердно копавшегося в яме вокруг большого пня.

Я обратил внимание на то, что при ходьбе он слегка кренится на левую сторону и раза два потёр рукой поясницу; я подумал, не прострел ли у него или что-нибудь в этом роде.

Приехав в Невер-Невер, я услышал от погонщика, который знал Хаулета, что жена его умерла в первый же год, а стало быть, эта таинственная женщина, если она ему жена, разумеется, была второй его

женой. Погонщика как будто удивило и даже позабыло известие, что старику Хаулету вздумалось снова жениться.

Пять лет спустя я ехал тою же дорогой из Невер-Невер. Было раннее утро — выехал я в полночь. Я не думал, что Хаулет уже встал, и вдобавок мне хотелось поскорее добраться до дому, повидать стариков и приятелей, которых там оставил, и девушку. Но я недалеко отъехал от того места, где дорога Хаулета вливалась в проезжую, когда, случайно оглянувшись, увидел, что он пробирается верхом по просёлку. Я подождал его.

На этот раз он ехал на старой серой рабочей лошади, и вид у нее был совсем заморённый. Казалось, она вот-вот споткнётся и упадёт, как старая ружьядь под напором ветра. Да и старик был не лучше её. Я сразу заметил, что он очень болен. Лицо его осунулось, и он согнулся, словно от боли. С лошади он сошёл неуклюже, как деревянный, и, едва ступив на землю, уцепился за мою руку, иначе он бы упал, как падает человек, спрыгнувший на ходу с поезда. Он потянул меня к придорожной насыпи, нащупывая свободной рукой землю, когда я осторожно усаживал его. Я снял с вьючного седла своё одеяло и кусок коленкора, чтобы устроить его поудобнее.

— Помогите мне прислониться спиной к дереву, — сказал он. — Я должен сидеть — незачем меня укладывать.

Он сидел, держась рукой за бок, и дышал тяжело.

— Хотите, я сбегаю домой и приведу жену? — спросил я.

— Нет. — Говорил он с трудом. — Нет. — Потом словно спазма вытолкнула из него слова: — Её там нет.

Я решил, что она ушла от него.

— Давно вы заболели? Когда это началось?

На мой вопрос он не обратил никакого внимания. Я подумал, что у него приступ ревматизма или что-нибудь в этом роде.

— Теперь боль перешла в спину п бока — хуже всего приходится спине, — сказал он вдруг.

Когда-то у меня был товарищ, который умер внезапно, за работой, от болезни сердца. Он промыл лоток с грязью в речонке близ заявки, где мы работали; лоток выскользнул у него из рук в воду, он упал навзничь, вскрикнул: «Ох, спина моя!» и умер. И теперь я инстинктивно почувствовал, что у бедного старика Хаулета неладно с сердцем. Сердце человека находится у него в спине, так же, как в плечах и руках.

Старик побледнел, как бледнеег человек, теряющий сознание от теплового удара; плечи его бессильно поникли, а руки с зарывшимися в пыль суставами пальцев беспомощно дрожали. Я чувствовал, что сам бледнею, и н желудке я ощущал тошнотворную холодную пустоту, потому что я знал эти признаки. Жителям джунглей болезнь и смерть влекут благоговейный ужас.

Но когда я устроил его удобно и дал ему пить из резинового мешка с водой, сероватая тень сбежала с его лица, и он ообрался с силами. Он поднял руки и скрестил их на груди. Затылком он прислонился к дереву — шляпа с обвислыми полями свалилась с головы, обнажив широкий, белый лоб, — я не думал, что у него такой высокий лоб. Казалось, он смотрел на голубой плавник горного кряжа, поднимавшийся над тёмными сине-зелёными джунглями на горизонте.

Потом он начал говорить, не обратив никакого внимания на меня, когда я спросил, лучше ли ему, — говорить тем страшным, рассеянным, мечтательным тоном, который приводит в ужас. Он рассказывал

свою повесть монотонно, затверженными словами, думая я теперь, как он часто рассказывал её раньше, если не другим, то безлюдно джунглей. И он называл имена людей и места, о которых я никогда не слыхивал, — как будто я их знал не хуже, чем он.

— Я не хотел привозить её сюда в первый год. Женщине здесь не место. Я хотел, чтобы она осталась со своими родными и подождала, пока я наведу здесь хоть какой-нибудь порядок. Фипсы взяли участок дальше, к низьвью. Я хотел, чтобы она подождала и приехала с ними, тогда у неё было бы какое-то общество — женщина, с которой она могла бы поговорить. Позднее они приехали, но не остались. Женщине здесь не место...

«Но Мери не захотела. Она не хотела остаться со своими родными на юге. Она хотела быть со мной и заботиться обо мне, работать и помогать мне».

Он без конца повторялся — снова и снова твердил иной раз об одном и том же. Помешан он был только на одном пункте. Он обрывал рассказ и сидел молча; потом в смятении, чуть ли не с испугом замечал моё присутствие, извинялся, что причинил мне столько хлопот, и благодарил меня.

— Сейчас я совсем оправлюсь. Вы бы лучше отвели лошадей к хижине и позавтракали. Завтрак вы найдете в печке. Я через минутку приду к вам. Жена будет ждать и...

Он не копчал фразы и вскоре снова возвращался в старую колею.

— Её мать собиралась приехать к нам погостить в конце года, но старик зашиб себе ногу. И её замужняя сестра собиралась к нам, но один из малышей заболел, и дома было много хлопот. В городе — в тридцати милях отсюда — я побывал у доктора и договорился с ним. Он был пьяница — следовало бы мне пристрелить его потом. И я договорился с женщиной в городе, чтобы она приехала и

пожила у нас. Я думал, что Мери ошиблась в своих расчётах. Должно быть, она ошиблась на месяц, на полтора. Но я слушался её... Не спорьте с женщиной. Не слушайте женщину. Делайте то, что нужно делать. Вот если бы с нами поговорила какая-нибудь опытная женщина... Но женщины здесь не место!

Словно под влиянием старых мучительных мыслей, он замотал головой, откинутой к стволу дерева.

— Ночью ей вдруг стало плохо, но потом прошло. Ложная тревога. Я собрался поехать за кем-нибудь, но она решила подождать до рассвета. Кто-нибудь наверняка проедет мимо. Она была храброй и разумной девочкой, но смертельно боялась остаться одна. Женщины здесь не место!

В трёх-четырёх милях отсюда жил пастух, негр. Я съездил к нему, пока Мери спала, и послал его в город. Я бы его пристрелил потом, попадись он мне. Старая негритянка умерла неделю назад. Не случись этого — и с Мери всё обошлось бы благополучно. Негритянку перевязали, как узел, тесьмами из одеял и кожи и положили в яму. Стало быть, даже и негритянки поблизости не было. Женщины здесь не место!

На рассвете я не спускал глаз с дороги, и в сумерках я не спускал глаз с дороги. Я спустился в ложбину и нагнулся, чтобы посмотреть в просвет в зарослях, не едет ли кто-нибудь... Я вскочил на лошаадь и галопом поскакал к городу, проехал пять миль, но что-то тянуло меня назад, и я полетел домой, боясь, что она умрёт раньше, чем я доберусь до хижины. С минуты на минуту я ждал доктора.

Это началось на рассвете, на следующее утро. Я бегал взад и вперёд, как помешанный, между хижиной и дорогой. И никто не ехал. Я налетал на чурбаны и пни, спотыкался и падал, как вдруг увидел на востоке облако пыли. Это были её мать и сестра в рессорной двуколке, а их нагонял доктор

в своём двухместном экипаже, и с ним женщина, с которой я договорился в городе. Мать и сестра хотели заночевать в городе, когда услышали о негре. Ему понадобился день, чтобы добраться туда. Я бы его пристрелил, попадись он только мне. У доктора был запой. Будь при мне ружьё и знай я, что её не стало, я бы его пристрелил в экипаже. Мне сказали, что она умерла. И ребёнок тоже умер.

Они бранили меня, но ведь я не хотел брать её с собой. Женщины здесь не место. Я их ни разу не видел после похорон. Больше я не хотел их видеть.

Он устало потёрся головой о ствол дерева и снова заговорил более мягким тоном — глаза и голос его стали более мечтательными, задумчивыми, рассеянными.

— Примерно через месяц или через год, — я давно уже потерял счёт времени — она вернулась ко мне. Сначала она приходила ночью, потом стала приходить, когда я работал, — и на руках у неё была малютка — девочка. И кончилось тем, что она совсем осталась... Я не бранил её за то, что она ушла тогда, — женщине здесь не место. Она была мне доброй женой. Она была весёлой девушкой, когда я на ней женился. Девочка выросла и была похожа на неё. Я хотел отправить её на юг, чтобы она училась там, — девушке здесь не место.

Но месяц или год тому назад Мери ушла от меня и взяла с собой дочку, и вернулась она только вчера вечером — нет, кажется, сегодня утром. Сперва я подумал, что это дочка сделала себе причёску и надела материнское платье, устроила сюрприз старику-отцу. Но это была Мери, моя жена, — такой она была, когда я на ней женился. Она сказала, что остаться не может, но будет ждать меня у дороги, у... дороги.

Руки его повисли, и лицо побелело. Я схватил мешок с водой. «Еще один такой приступ, и тебя не станет», — подумал я, когда он снова пришёл в себя.

Вдруг я вспомнил, что в десяти — двенадцати милях отсюда по дороге в город я видел ещё не достроенную лачугу, когда проезжал здесь в прошлый раз. Другого выхода у меня не было — я должен был оставить его и поехать за помощью и за какой-нибудь повозкой.

— Вы меня здесь подождите, я поеду за доктором, — сказал я.

Он как будто встрепенулся.

— Ступайте-ка лучше в жижину и закусите. Жена будет ждать...

Снова он потерял нить.

— Вы меня подождёте, пока я съезжу к реке?

— Да... я буду ждать у дороги.

— Слушайте! — сказал я. — Я оставлю мешок с водой, чтобы у вас под рукой была вода. Не трогайтесь с места, пока я не вернусь.

— Не тронусь... я буду ждать у дороги, — сказал он.

Я взял вьючную лошадь — она была свежее и крепче, — свалил вьючное седло и узлы в кусты, бросил другую лошадь на произвол судьбы и поскакал к лачуге, а старик остался сидеть, прислонившись спиной к дереву, сложив руки и не спуская глаз с горизонта.

Один из ребят, живших в лачуге, тотчас поехал за доктором, а другой вернулся со мной в рессорной двуколке. Он рассказал мне, что жена старика Хаулета умерла в первый же год по приезде на ферму — «говорят, красивая была девушка!» Рассказывал он эту повесть так же, как рассказал мне её старик, и нуть ли ни теми же словами, даже выразил своё мнение, что женщины здесь не место. «И с той поры он думал да раздумывал над этим, пока не свихнулся».

Остальное мне было известно. Он не только воображал, что его жена — или дух его жены — жила с

ним все эти годы, он воображал, что и девочка осталась жива и выросла, а жена вела хозяйство в доме; конечно, хозяйством занимался он сам.

Когда мы подъехали к нему, его узловатые руки упали в последний раз. Теперь они обрели покой. Я только мельком взглянул на его лицо, но я мог бы поклясться, что он смотрел на голубой плавник горного кряжа над джунглями на горизонте.

В хижине стол был накрыт, как в тот день, когда я в первый раз вошёл туда, и в походной печке был приготовлен завтрак.

ЭТОТ МОЙ ПЁС

Со стригачом Мэккуари произошёл несчастный случай. По правде сказать, он участвовал в пьяной драке в придорожном кабаке, откуда выбрался с тремя сломанными рёбрами, треснувшим черепом и различными менее серьёзными повреждениями. Его пёс Тэлли был трезвым, но яростным участником пьяной драки и отделался сломанной лапой.

Затем Мэккуари взвалил на плечи свой узел и, ссутыкаясь, прошёл десять миль по тракту до больницы Юньон-Тауна. Одному богу известно, как он ухитрился это сделать. Сам он хорошенько не знал. Тэлли ковылял за ним всю дорогу на трёх лапах.

Доктора осмотрели повреждения и подивились выносливости человека. Даже доктора иной раз удивляются — хотя и не всегда это показывают. Конечно, они соглашались его принять, но возражали против Тэлли. Собакам был воспрещён вход на территорию больницы.

— Придётся тебе прогнать этого пса,— сказали они стригачу, присевшему на край койки.

Мэккуари ничего не ответил.

— Здесь не разрешается держать собак любезный,— повысил голос доктор, думая, что парень глуховат.

— Привяжите его во дворе.

— Нельзя. Запрещено держать собак на больничной территории.

Мэккуари медленно встал, стиснул зубы, борясь с мучительной болью, кое-как застегнул рубаху на волосатой груди, взял свою куртку и, шатаясь, поплёлся в угол, где лежал его узел.

— Что ты делаешь?— спросили его.

— Вы не разрешаете оставить моего пса?

— Нет. Это против правил. На территории больницы держать собак не разрешается.

Он нагнулся, поднял узел, но боль была слишком сильна, и он прислопился спиной к стене.

— Полно, полно! Что с тобой?— нетерпеливо воскликнул доктор.— С ума ты что ли сошёл? Ты же знаешь, что не в состоянии идти. Служитель поможет тебе раздеться.

— Нет!— сказал Мэккуари.— Нет. Если вы не хотите принять моего пса, так вы и меня не принимайте. У него сломана лапа, и он нуждается в помощи не меньше.. не меньше, чем я. Если я заслуживаю того, чтобы меня приняли, так и он этого заслуживает не меньше.. а больше, чем я.

Он помолчал, тяжело дыша, потом продолжал:

— Вот этот... этот мой старый пёс служит мне верой и правдой вот уже двенадцать долгих, тяжёлых и голодных лет. Пожалуй... пожалуй, он единственное существо, которому есть дело до того... жив ли я, или свалился и сгнил на проклятой дороге.

Он сделал передышку, потом снова заговорил.

— Этот... этот мой пёс родился на дороге,— сказал он с какой-то печальной улыбкой.— Несколько месяцев я носил его в котелке, а потом таскал на своём узле, когда он уставал... А старая сука— его

мать — бежала рядом, очель довольная... и по временам нюхала котелок, чтобы узнать, всё ли в порядке... Она ходила за мной ливень сколько лет. Она следовала за мной, пока не ослепла... да ещё год после этого. Она не отставала от меня до тех пор, пока хватало у неё сил ползти по пыли, а потом... потом я её убил, потому что не мог же я бросить её живую позади.

Он снова передохнул.

— И вот этот мой старый пёс — продолжал он, коснувшись задранного вверх носа Тэлли своими узловатыми пальцами, — вот этот мой старый пёс ходил со мной десять... десять лет... в ливень и в засуху, в хорошие времена... и... и в плохие... большей частью в плохие. И не дал мне свихнуться, когда не было у меня ни товарища, ни денег на глухой дороге. И сторожил меня неделю за неделей, когда у меня был запой... когда я льянствовал и шёл отраву в проклятых кабаках. И не раз спасал мне жизнь, а в благодарность частенько получал пишки и проклятья. И прощал мне всё. И... и дрался за меня. Только он один и вступился за меня, когда эти ползучие гады набросились в том кабаке... кое-кто унёс с собой его отметины... а также и мои.

Он снова сделал паузу.

Потом он набрал воздуха в лёгкие, крепко стиснул зубы, взвалил на спину свой узел, шагнул к двери и снова повернулся.

Собака, прихрамывая, вышла из угла и с беспокойством подняла голову.

— Вот этот мой пёс, — сказал Мэккуари, обращаясь ко всему большичному персоналу, — лучше меня, человека... и похоже на то, что он лучше вас... Он был для меня таким товарищем, каким я ни для кого не был... да и для меня никто. Он сторожил меня, не давал меня ограбить, дрался за меня, спасал мне жизнь, а в благодарность получал

пьяные пинки и проклятья... и прощал мне. Он был мне верным, надёжным, честным и преданным товарищем... и теперь я его не брошу. Я не вышвырну его со сломанной лапой пинком на дорогу, я... Ох, господи! Моя спина!

Он застонал и качнулся вперёд, но его подхватили, сняли с него поклажу и положили его на кровать.

Через полчаса стригач был уже устроен со всеми удобствами.

— Где мой лёс?— спросил он, как только пришёл в себя.

— О нём позаботились,— нетерпеливо сказала сиделка.— Не беспокойся. Доктор вправляет ему лапу на дворе.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ПОЛИЦЕИ

Хижина в мрачном ущелье; хижина из горбылей и волокнистой коры; две комнаты и отдельная пристройка!— перегороженная кухня, за грубой перегородкой комната мальчиков. Большой обмазанный глиной очаг, в котором пылали толстые поленья. Отец, поселенец или фермер, и мать; второй мужчина— должно быть, «дядя»— и женщина помоложе, должно быть, «тётя»; два маленьких мальчика и грудной младенец.

Небо обрушивало потоки дождя, и ночь была чёрная, как смола. Дядя читал заметку в газете (которую, казалось, занесло из каких-то дальних мест) о том, что полиция разыскивает двух человек, обвиняемых в краже овец и рогатого скота в этом округе. Я твёрдо помню, что это было в пору владычества скваттеров на ближнем западе. Могуший порыв ветра сотряс кухню, и мать взяла младенца

из примитивной колыбели — ящичка из-под бутылок джина. Отец вынул изо рта трубку и сказал:

— Эх, бедняги!

— Надеюсь, бедные ребята нашли себе пристанище в такую ночь, — сказала мать, баюкая ребёнка.

— А я надеюсь, что их никогда не поймают! — отрезала её сестра. — Со скваттеров хватит того, что у них есть.

— Хотела бы я знать, где наш бедный Джим, — жалобно сказала мать, укачивая ребёнка, и две крупных слезы выкатились из её измученных глаз.

— Да не начинай ты опять о Джиме, Эллен! — устерпеливо вмешалась её сестра. — Он может сам о себе позаботиться. Вечно ты торопишься навстречу беде — хватит у тебя времени, когда она нагрянет.

— Послушай, Эллен, — успокоительным тоном заговорил дядя Эб, — когда мы в последний раз слышали о Джиме, он был в Куинсленде, и дела его шли хорошо. Неужели ты никогда не успокоишься?

Очевидно, Джим был младшим братом, и характер его с детства давал семье вечный повод для беспокойства.

Отец курил, упершись локтем в колено, забрав в ладонь щетинистые рыжие бакенбарды и глядя в огонь — а быть может, и в свою прошлую жизнь, проведённую в родной, ставшей для него чужой стране. Да и думал он, может быть, на своём родном языке.

Молчали и курили. Потом мать вдруг выпрямилась и подняла палец.

— Тише! Что это? Мне слышалось, кто-то там ходит.

— Старая Полли кашляет, — сказал дядя Эб, после того как все прислушались. — Верно, с ней дело неладно. Надо бы ей дать горячего пойла из отрубей.

Поли была лучшей дойной коровой.

— Но мне послышался стук копыт у ворот,— возразила мать.

— Старый Принц,— сказал дядя Эб.— Надо бы влустить его в сарай.

— Тише!— сказала мать.— Там кто-то ходит.

Действительно, слышны были шаги, как будто кто-то отошёл от двери, заглянув предварительно в щель, но эти шаги не походили на поступь старой Поли. Потом издали донёсся кашель — старая Поли кашляла, но у неё не было такого раздражающего кашля.

— Питер, посмотри, кто там,— сказала мать.

Дядя Эб, который любил драматические положения и был ослом, снял с ремней на стене старую двустволку, поставил её в дальний угол и уселся поближе к ней. Мать, как будто ничего не понимая, нахмурилась и с досадой посмотрела на него. Снова приступ кашля. Кашлял мужчина.

— Кто там? Есть там кто-нибудь?— крикнул фермер.

— Хозяин дома? Мне нужно поговорить с ним,— раздался голос, явно не натруженный от кашля. Тон был успокоительный, но напряжённый, как будто произошёл какой-нибудь несчастный случай или осторожный полисмен, а может быть, промышленный разбоем обитатель зарослей производил разведку.

— Узнай, что ему нужно, Питер,— спокойно сказала свояченица.— Что-то случилось... может быть, это полиция.

Питер набросил на плечи пустой мешок, отпер дверь и вышел. Снова раздался мучительный кашель, теперь уже ближе.

— С таким кашлем впору помереть!— заметил дядя Эб.

Фермер вернулся и что-то шепнул остальным, те, очень заинтересованные, широко раскрыли глаза.

Снаружи снова послышался кашель. Когда прекратился приступ, мать сказала:

— Подожди минуточку, сначала я уберу с дороги мальчиков, а тогда уже веди их сюда.

Мальчиков вытолкали за перегородку и приказали им немедленно лечь спать. Вместо этого они встали на колени на грубо сколоченной кровати из горбылей, с солевым матрасом, и припали к щели в перегородке.

Мать крикнула отцу, который снова вышел во двор:

— Скажи им, чтобы шли сюда, Питер.

— Сначала приведите лошадей во двор и поставьте их под навес,— сказал отец неизвестным, стоявшим в темноте под дождём.

Со стуком опустили верхние перекладины ворот, через них переступили усталые лошади, и перекладины были снова подняты.

Потом они вошли: промокший до нитки и явно выбившийся из сил рослый мужчина, с кудрявыми чёрными волосами и чёрной бородой, с чёрными глазами и бровями, подчёркивающими его бледность; одет в куртку из твида¹, слишком узкую и с короткими рукавами, рейтузы на кожаных штрипках, гамашах и зашнурованные ботинки — всё мокрое насквозь. Второй — почти мальчик, безусый или гладко выбритый, фигурой и лицом похожий на уроженца Австралии; одет, как и его товарищ, погонщиком или пастухом. У обоих ноги и руки наездников; в левой руке шляпа «капустная пальма», словно правая должна быть наготове — возможно для того, чтобы выхватить револьвер. У молодого человека был мучительный кашель, от которого тело его, казалось, извивалось, когда фермер вёл его к табурету возле очага. В промежутках между приступами он дико

¹ Твид — грубая шерстяная ткань в рубчик.

озирался, как выслеженный и загнанный воришка,— будто кашель был каким-то серьёзным преступлением, и он во что бы то ни стало должен справиться с ним.

— Питер, сейчас же снимн с него эту мокрую куртку,— сказала жена фермера,— и дай мне, я её высушу.— Потом она передумала:— Возьми свечу, отведи его в дом, и пусть он переоденется во что-нибудь сухое.

Черноволосый, который всё ещё стоял в дверях, посторонился, чтобы пропустить их, когда фермер повёл молодого человека «в дом», потом занял прежнюю позицию. Он стоял понурый, держась одной рукой за дверной косяк; всё время он обводил комнату своими большими, беспокойными тёмными глазами, скользил ими даже по потолку, казалось, не желая видеть или не замечая окружающих лиц, после того как бросил на них первый зоркий взгляд. Но он упорно возвращался к двери в перегородке, отделявшей комнату мальчиков.

— Вы бы сели к огню, отдохнули и обсушились,— робко сказала жена фермера, последив за ним с минуту.

Снова он посмотрел на дверь как будто рассеянным взглядом, впрочем, можно было подумать, что он не слышал этих слов.

Тогда заговорил дядя Эб (кстати сказать, считали, что знает он больше, чем можно было предполагать):

— Да сядьте же! Сядьте и обсушитесь. Никого там нет, кроме мальчиков... там комната мальчиков. Хотите заглянуть?

Казалось, незнакомец очнулся от задумчивости. Он отнял руку от косяка, и она повисла, как плеть.

— Благодарю вас, миссис,— сказал он, очевидно, не замечая дяди Эба, подошёл к очагу и сел.

— Снимите мокрую куртку и дайте мне, я её высушу.

— Благодарю.

Он снял куртку и, вывернув наизнанку рукава, повесил её себе на колени, подкладкой к огню. Потом наклонился вперёд, положил на колени руки и вперил взгляд в пылающие дрова и пар. Он был без оружия, а может быть, оставил свой револьвер в седельном вьюке.

Энди Пейдж работник на все руки (он находился здесь всё время, но о нём ещё не упоминалось, ибо сам он до сей поры не сказал ничего, что бы могло дополнить эту мрачную картину), Энди Пейдж повернул теперь к незнакомцу каменное лицо, хотя сердце у него было мягкое, и сказал, что дождь здорово полезен для травы, мистер, теперь она начнёт расти. Замечание вполне бесполезное при данных, да и при всяких обстоятельствах.

Незнакомец ответил:

— Да, начнёт расти.

— После дождя она так и полезет,— сказал Энди.

Незнакомец согласился, что полезет.

Дядя Эб вступил, или, вернее, влез в разговор, и они завели речь о засухе, о дожде, о земле, пользуясь преимущественно короткими фразами, вроде: «вот именно», «так оно и есть» «что правда, то правда», пока не вернулся фермер с молодым человеком, переодевшимся в грубое и заплатанное, но сухое платье. Он сел на другой табурет рядом со своим товарищем и снова раскашлялся. Когда кончился приступ, дядя Эб сказал:

— Скверный у вас кашель, паренёк.

Тот слишком ослабел, чтобы ответить, даже если было у него такое намерение; он быстро, испуганно оглянулся и дважды мотнул головой коротко и резко.

Фермер принёс бутылку — это был джин, который они берегли, как лекарство. Они дали ему горячего

джина, и в том, как он его пил, тоже было что-то порывистое, испуганное, полуживотное: он походил на собаку, привыкшую к посям.

— Ему надо лечь в больницу, — сказала мать.

— Ему надо сейчас же лечь в постель, — отрезала сестра. — Вы не можете остаться до утра или хотя бы до тех пор, пока дождь перестанет? — обратилась она к старшему мужчине. — В такую погоду вряд ли кто забредёт сюда.

— Если мы останемся, у него все шансы попасть очень скоро и в больницу, и в постель — и застрять там на долгие времена, — мрачно сказал черно-волосый. — Нет, спасибо вам, мисс... и вам, миссис... к утру я его хорошо устрою.

Отец пошёл с двумя небольшими торбами за перегородку, и оба мальчика нырнули под одеяло. Отец насыпал в торбы мякины из стоявшего в углу мешка, подсыпал зерна из другого мешка и хорошенько всё перемешал. Потом он вышел с торбами подмышкой, а мальчики снова вскочили.

Мать принесла из передней комнаты два стула (я хорошо помню эти стулья: крашенные, чёрные, из твёрдого дерева, они всегда разваливались на куски, на спинках были намалёваны яблоки). Она поставила их спинкой к огню и, взяв мокрую одежду юноши, которую фермер принёс подмышкой и бросил на табурет, развесила её на спинках стульев и на табурете для просушки. Благодаря действию джина юноша уже не казался таким нервным и запуганным и ответил на два-три вопроса, касавшиеся его здоровья.

Младенец спал в колыбели. Сестра нацедила кипятку из старомодного резервуара, висевшего над огнём, и сварила кофе. Мать постелила грубую желтоватую скатерть и подала испечённый в золе хлеб, солонину, жестяные тарелки и кружки, вмещавшие пищу. В австралийских джунглях это называлось «накрыть на стол».

— Вы бы лучше поужинали у очага,— обратилась мать к черноволосому.

— Благодарю вас, миссис,— сказал тот, пересаживаясь на скамью у стола,— но здесь тоже тепло. Иди, Джек.

Джек после второй кружечки мог сидеть за столом, сохраняя человеческий облик, вместо того чтобы приступить к еде с видом побитой собаки.

Шёл монотонный разговор о повседневных делах. Один из мальчиков упал поперёк кровати и заснул крепким сном, другой продолжал свои наблюдения, но, должно быть, и он задремал.

Проснувшись, он увидел, что черноволосый, стоя перед очагом, надевает свою просохшую куртку. Потом черноволосый подошел к грубо сколоченному «дивану» у стены, на котором спал юноша,— повернувшись к стене, юноша вобрал голову в плечи и прикрыл лицо локтем, словно опоссум, спрятавшийся от света,— и тронул его за плечо.

— Проснись, Джек, вставай,— сказал он.

Джек стремительно вскочил, вцепился в своего товарища, потом рванулся к двери.

— Всё в порядке, Джек,— ласково, но твёрдо сказал черноволосый, удерживая его и встряхивая.— Ступай в дом с боссом и переоденься в своё платье... пора трогаться в путь.

Джек очнулся и послушно пошёл с фермером. Черноволосый потянулся, пересек кухню и посмотрел на спящего ребёнка; не сказав ни слова, он вернулся к очагу. Глаза его уже не были такими беспокойными. Мать заботливо укладывала провизию в мешок из-под сахара.

— Вот в этих жестянках из-под горчицы чай, сахар и соль, они не подмокнут,— сказала она,— и масла немножко. Но вот не знаю только, как быть с хлебом: я его завернула, но вы уж как-нибудь позаботьтесь, чтобы он не подмок.

— Благодарю вас, миссис, всё будет в порядке,— сказал он.— У меня есть кусок клеёнки.

Они разговаривали вяло, только чтобы протянуть время; потом женщина коснулась какой-то струны, и голоса их стали тихими и напряжёнными. Незнакомец говорил, как на похоронах, но похороны-то были его собственные.

— О себе я не так уж беспокоюсь,— сказал он,— потому что надоело мне это... и... в сущности, всё мне надоело. Но мне бы хотелось устроить дела бедного Джека, и ради него я постараюсь снять с себя обвинение. Вы его видели. Винить себя я не могу, я его спас от такой жизни, которая хуже тюрьмы. Вы знаете, какие попадаютя негодяи в джунглях, хуже зверей, и как они обращаются со своими детьми. А Джек был «приёмным». Вы знаете, что это значит. Когда он попал в мои руки, он был полудиотом от дурного обращения. Теперь, когда он со мной, у него есть смекалка, и он надёжен, как сталь. Пожалуй, это единственное живое существо, к которому я привязан и которое ко мне привязано, и ради него я хочу вырваться из этого ада.

Он замолчал, и все молчали. Он прикидывал, сколько остаётся у него времени, что и доказали следующие его слова:

— Сейчас Джек, должно быть, кончает переодеваться.

Потом он достал пакет из какого-то внутреннего кармана синей рубахи из грубой шерстяной ткани. Пакет был завернут в клеёнку, он развернул его и положил на стол. Это была маленькая библия и пачка писем и, быть может, фотографий.

— Миссис,— сказал он— не думайте, что я слюнявый, я человек не религиозный и не ханжа. Но эту библию дала мне моя мать, на ней надпись, сделанная её рукой, вот почему я не мог её выбросить.

И эти письма тоже от неё и... и ещё от одной особы. Вы можете их прочесть, если хотите. А я вас прошу сохранить их для меня и просушить, может быть, они немножко отсырели. Если мне удастся выпутаться, я когда-нибудь пришлю за ними, а не удастся... ну, что ж, я не хочу, чтобы их забрали вместе со мной. Не хочу, чтобы полиция знала, кто я и что я, и кто мои родные и где они. И вы бы не узнали, если бы ваш муж не встречался со мной на приисках и не был случайно в суде, когда я в первый раз судился за кражу скота и меня оправдали. И сегодня он меня узнал. Нехватает у меня слов, чтобы поблагодарить вас, но помните, что я никогда этого не забуду. Даже если меня заберут, всё равно я не забуду, и когда-нибудь я это докажу.

— Нам... нам не нужно никакой благодарности, и не нужно нам никаких доказательств,— прерывающимся голосом ответила женщина.

Сестра, у которой подозрительно блеснули глаза, взяла со свойственной ей резкостью и практичностью пакет и спрятала его в рабочую шкатулку, стоявшую в кухне.

Фермер привёл юношу, который уже переделался в свой костюм. Старший мужчина спокойно пожал всем руку, вернее, они пожали ему руку.

— Пюра, Джек!— сказал он.

На плечи Джеку набросили клеёнчатый плащ.

Джек шагнул вперёд и нервно пожал всем руку, казалось, ему трудно было разжимать свою.

— Я этого не забуду,— сказал он.— Вот всё, что я могу сказать: я этого не забуду.

Потом они вышли с фермером. Дождь почти прекратился. Со стуком были опущены и снова подняты перекладины ворот, но фермер не возвращался.

— Интересно, что это Питер там делает?— сказала жена.

— Показывает им дорогу,— отозвался дядя Эб.

Но вот снова опустились со стуком перекладины, и скот был выпущен за ворота.

— Что он там возится с коровами?— сказала жена.

С четверть часа они ждали в недоумении и с нарастающей тревогой. Потом Эб и Энди вышли узнать, в чём дело, и встретили возвращающегося фермера.

— Какого чорта ты тут возишься с коровами, Питер?— спросил дядя Эб.

— Я их погнал по дороге, чтобы они затоптали следы лошадиных копыт; у нас могут быть неприятности,— ответил Питер.

Когда мальчики проснулись, было утро, и у кровати стояла мать.

— Можете сейчас не вставать... И если вас спросят, не говорите, что кто-то был у нас ночью,— прошептала она и ушла.

Мальчики тотчас же вскочили на колени, припали глазом к щёлке и струсили не на шутку: трое конных стражников сушили ноги у очага; верхнюю половину тела защищали клеенчатые плащи. Мать хозяйничала у стола, а сестра перепелёвывала младенца. Затем двое младших полисменов уселись за стол и прицались за хлеб, бэкон и кофе, но их начальник (сержант) стоял спиной к очагу, с кружкой кофе в руке и хмуро и подозрительно смотрел по сторонам.

Желая нарушить тяжёлое молчание, один из молодых стражников обратился к тёте Энни:

— Вы меня не помните?

— Как же, помню! Вы учились в школе Брауна в Трубочной Глине, но я была там всего несколько месяцев.

— У вас такой вид, как будто вы не выспались,— напрямик сказал сержант жене фермера,— и у вашей сестры тоже.

— Да и у вас был бы такой же вид, если бы

вы всю ночь провозились с больным ребёнком,— резко сказала тётя Энни.

— Печальная вышла история с Брауном, учителем,— сказал младший стражник, обращаясь к тёте Энни.

— Да,— ответила тётя Энни,— очень печальная.

Сержант стоял нахмурившись. Потом грубо сказал:

— Не похоже, чтобы ребёнок был очень болел. Что с ним такое?

Молодые стражники смущённо заёрзали, а один не скрыл досады.

— Видели бы вы её (ребёнка) часов в двенадцать ночи! — сказала тётя Энни.— Мы не думали, что она доживёт до утра.

— О, в самом деле? — недоверчиво отозвался сержант.

Мать взяла малышку на руки и держала её так, чтобы старшему полисмену не было видно её личико.

— Что случилось с семьёй Брауна, мисс? — спросил молодой стражник.— Помните Люси Браун?

— Право, не знаю,— ответила тётя Энни.— Слышала только, что они переехали в Сидней. Кажется, кто-то говорил, что Люси вышла замуж.

Явились к завтраку дядя Эб и Энди. Энди уселся с каменным лицом в угол, а дядя Эб, рослый мужчина, занял позицию рядом со старшим стражником, повернулся спиной к очагу и, повидимому, чувствовал себя прекрасно. Он подвернул сзади куртку, и на лице его была написана буколическая невинность. Фермер прошёл в комнату мальчиков (где хранилась упряжь, корм для скота, инструменты и прочее), а когда он вышел оттуда с лопатой, сержант сказал:

— Стало быть, вот уже три дня, как вы никого здесь не видели?

— Да,— сказал фермер.

— Никого, кроме Джимми Маршфилла, к которому перешёл участок Баркера,— вставила тётя Энни.— Он был здесь вчера. Вы его разыскиваете?

— Да ещё проехали здесь третьего дня три парня верхом, они свернули мимо нижнего загона,— промямлил дядя Эб.— Кажется, один из них работает у Коксов.

Услышав голос дяди Эба, обе женщины вздрогнули, побледнели и, казалось, непрочь были заткнуть ему рот, но на дядю Эба можно было положиться.

— опишите, какие они,— сказал сержант.

Женщины снова побледнели, но дядя Эб описал их наружность. Он был не лишён фантазии и мямлил только, когда говорил правду.

— В какую сторону они поехали? — спросил сержант.

— В сторону Муджи (городок с полицейским постом),— сказал дядя Эб.

Сержант досадливо махнул рукой и оставил дядю Эба в покое.

У дяди Эба был такой вид, будто ему очень хочется кому-нибудь подмигнуть, но сделать это не безопасно ввиду отсутствия дружеских глаз.

— Гм...— сказал сержант,— странно, что люди, которых мы разыскиваем, не заехали на эту уединённую ферму за провизией, за кормом для лошадей или для того, чтобы кое о чём разузнать.

— Мы не скупщики краденого скота и воров мы не потакаем,— сказала тётя Энни.— Мы люди честные, работающие, и богу известно, что мы всегда рады новому человеку, когда он заглянет в нашу дыру. Но если вам угодно нас оскорблять, то лучше вы это дело бросьте. Я вам говорю, что вот уже три дня, как никого здесь не было, кроме старого Джимми Маршфилда, и больше двух недель сюда

не заходили чужие люди. И довольно! Моя сестра женщина болезненная, и у нее и без вас много хлопот.

У тётки Энни была мужская привычка класть руку на какой-нибудь предмет, когда она произносила речь, и случилось так, что сейчас её рука лежала на шкатулке, в которой была спрятана библия, подаренная вору его матерью. Но в случае необходимости тётка Энни готова была поклясться даже на библии.

— Ладно, ладно, не обижайтесь,— сказал сержант.— Идём, ребята, если вы кончили завтракать! Нечего зря терять здесь время.

Оба молодых стражника поблагодарили мать за завтрак, и — как это ни странно — тот, что разговаривал с тёткой Энни, подошёл и горячо пожал ей руку. Потом они вышли и, вскочив на коней, поскакали назад по направлению к Муджи.

Дядя Эб долго, упорно и торжественно подмигивал Энди Пейджи, а Энди отвечал тем же, словно деревянный автомат. Обе женщины подталкивали друг друга локтем, улыбались и казались в то утро совсем молоденькими девушками, чтобы не сказать резвушками. Случилось нечто, нарушившее жестокое и безнадежное однообразие их жизни. И даже фермер стал глупо весел.

Пять лет спустя. Та же хижина, тот же двор, тот же расчищенный и обнесённый изгородью участок, который почти не увеличился. Женщины, пожалуй, более измучены и изнурены, у фермера больше мозолей на руках, и он более молчалив, а дядя Эб настроен, пожалуй, более философически. Мужчинам пришлось уходить на заработки, работать на станциях. У фермера и его жены одна песня: «Будь у нас только несколько фунтов, чтобы хорошенько

расчистить и огородить участок, купить ещё одну хорошую рабочую лошадь и ещё несколько коров». Об этом твердили они пять с лишним лет.

Однажды вечером почтальон доставил пакет. Это был маленький свёрток в клеёнке, аккуратно завязанный и запечатанный. Что бы это могло быть? Нет, это не рождественский номер еженедельника, на который они подписались; журнал никогда не приходил в такой упаковке. Тётя Энни пресекла споры, перерезав ножом верёвку и сломав печать.

Они увидели чистый мешок из-под сахара, туго свёрнутый трубкой.

И в нём толстый желтоватый конверт.

А на конверте были написаны, или, вернее, выведены печатными буквами слова:

«За корм лошадам, за постой и за ужин».

Внизу приписка: «Пошлите библию и фотографические карточки...» (Дальше фамилия и адрес).

А в конверте пачка кредитных билетов.

— Сосчитайте их,— сказала тётя Энни.

Но мозолистые и узловатые руки фермера слишком дрожали; дрожали и высохшие руки его жены. Поэтому сосчитала их тётя Энни.

— Пятьдесят фунтов! — сказала она.

— Пятьдесят фунтов,— протянул фермер, с недоумевающим видом почёсывая голову.

— Пятьдесят фунтов! — ахнула его жена.

— Да, пятьдесят фунтов! — отрезала тётя Энни.

— Авось когда-нибудь вы договоритесь! — промямлил дядя Эб. Позднее, подумав на досуге, он заметил:

— Пусти по воде твой кофе, и хлеб, и бэкон... Дядя Эб никогда не торопил ни себя, ни других¹.

¹ Есть английская поговорка: «Пусти по воде хлеб, он вернётся к тебе намазанный маслом», то есть «воздастся сторицей».

СВОЯЧЕНПЦА БРАЙТЕНА

Джим родился на Гулгонге, в Нью Саут Уэлсе. Мы привыкли говорить «на Гулгонге», и старые золотоискатели до сих пор говорят «на Гулгонге», хотя работы на золотых приисках уже много лет как прекращены, и ничего там не осталось, кроме пыльного маленького городка в зарослях. Гулгонг был одним из последних огромных золотоносных участков, куда хлынул народ в дни золотой лихорадки, а когда я там был, место показалось мне мрачным и унылым. Говоря «на Гулгонге», подразумевали «на приисках» — конечно, прииски находились под землёй, стало быть, мы жили (или помирали с голоду) не в них, а на них.

Джим появился на свет года через два после того, как мы с Мери поженились. Кстати, звали его не Джим, его звали Джон Хенри, в честь дяди крёстного. Но Джимом мы называли его с первого дня (и еще раньше), потому что это имя популярно в джунглях, и почти все мои старые товарищи — Джимы. Джунгли кишмя кишат добродушными бродягами по имени Джим.

Мы жили в старой обшитой досками лачуге, где в золотые дни Гулгонга шла тайная торговля гропом и бог весть чем еще, и был я немножко старателем (вернее, «фоссикером»¹), стриг овец, строил изгороди, плетничал, работал землекопом на строительстве плотины — всего понемножку, чтобы только кипела вода в котелке.

Много хлопот у нас было с зубами Джима. Каждый зуб давался ему трудно, и большей частью приходилось надрезать десну ланцетом, без этого дело не могло обойтись. Помню, сделали однажды надрез,

¹ Фоссикер — старатель, который ищет золото в заброшенных месторождениях.

а десна зажила раньше, чем вылез зуб, и пришлось резать вторично. Джим был храбрым мальчуганом и расплакался только в первый раз, когда доктор прорезал десну, а потом он уже говорил «дай!» и хотел взять домой ланцет.

Первый припадок у Джима был самый страшный, Жена и Джим жили со мной в палатке, в лагере у плотины, которую я строил на Кетл Крик. Было у меня два работника и мальчик, приставленный к одной из тележек, а Мери я взял с собой, чтобы она нам стряпала. Счастье наше, что контракт кончился и мы в тот самый день вернулись в Гулгонг, где был под рукой врач. Не прошло и часа, как мы ввалились в дом со всеми нашими пожитками и устраивались на ночь, когда у Джима начались судороги.

Видели вы когда-нибудь ребёнка, сведённого судорогой? Второй раз вам не захочется смотреть: это чертовски действует на нервы. Я поставил раскладные кровати и повесил котелки над огнём — собирался пить чай и положил в другой котелок кусок солины, чтобы он сварился за ночь, когда Джим (весь день он был какой-то странный, и мать старалась его убаюкать) — Джим два раза взвынул. Он долго плакал, а я устал, как собака, и был расстроен (из-за денег, которыми ссудил одного человека), иначе я сразу заметил бы что-то странное в плаче ребёнка. Но я оглянулся только тогда, когда Мери вскрикнула: «Джо! Джо!» Вы знаете, как кричит женщина, когда её ребёнок в опасности или умирает, — короткий, резкий, страшный крик.

— Джо! Джо! Смотри! Боже мой, наш мальчик! Приготовь ванну! Скорей! Скорей! Это судороги!

Джим выгнулся, как лук, на руках матери, одеревянел, как волосье ярмо, глаза у него закатились под лоб — с тех пор я видел это дважды, и лучше бы мне никогда этого не видеть.

Доставая лохань и наливая горячую воду, я без конца что-то опрокидывал, как вдруг к нам влетела жепщина, жившая рядом. Она крикнула своему мужу, чтобы он бежал за доктором, но когда доктор пришёл, они уже опустили Джима в горячую ванну, и опасность миновала.

Соседка постелила мне постель в другой комнате и осталась на ночь с Мери. Но нескоро мне удалось выкинуть из головы вопли Джима и Мери и заснуть.

Можете быть уверены, что после этого я в течение многих ночей следил, чтобы не погас огонь в очаге, и держал наготове ведро горячей воды. Но (как всегда бывает) настала ночь, когда страх рассеялся, когда я слишком устал, чтобы позаботиться об очаге, и в ту именно ночь Джим застиг нас врасплох. Запас дров у нас кончился, я сломал новый стул, чтобы развести огонь, и бежал четверть мили за водой, но этот припадок был легче первого, и мы спасли Джима.

Вы никогда не видели ребёнка, сведенного судорогой? Хорошо, что не видели. Должно быть, это продолжается всего несколько секунд, но секунды кажутся бесконечными минутами, а через полчаса ребёнок смеётся и играет с вами или лежит мёртвый. Меня это здорово потрясло. Я всегда был нервным и чувствительным парнем. После первого припадка стоило Джиму вскрикнуть, повернуться на другой бок или разметаться ночью во сне, как я уже вскакивал. Я шупал ему лоб в темноте, беспокоясь, нет ли жара, ощупывал руки и ноги, чтобы узнать, мягкие ли они ещё. Мы с Мери часто над этим смеялись впоследствии. Я попробовал почевать в другой комнате, но в течение многих ночей после первого припадка стоило мне заснуть крепким сном, как я уже слышал вопль Джима совершенно ясно, словно наяву, и слышал крик Мери — короткий, резкий и страшный: «Джо! Джо!» Я вскакивал, пулей влетал к ним в

комнату и находил их обоих мирно спящими. Тогда я щупал голову Джима, прислушивался к его дыханию, подстерегая приближение судорог, смотрел, не погас ли огонь и есть ли вода, потом опять ложился и старался заснуть. Первое время так проходила у меня вся ночь, и я с облегчением встречал рассвет. Тогда я первым делом шёл посмотреть, всё ли у них в порядке, потом спал до обеда, если день был воскресный или у меня не было работы. Правда, в ту пору я был измотан: я беспокоился из-за денег, которых мне не заплатили за построенный мною дровяной сарай, да к тому же до встречи с Мери я жил довольно бурно.

В то время я вёл жестокую борьбу, старался как-нибудь выбиться. Мы оба, Мери и я, привыкли в детстве к лучшей жизни, вот почему нам так тяжело было жить этой жизнью.

Одно время с Джимом всё обстояло благополучно. Мы внимательно следили за ним и во-время прорезали десну ланцетом.

Но вот что меня беспокоило: только-только начнёт он толстеть, розоветь и походить на нормального счастливого ребёнка, которого я с гордостью показываю всем, как у него прорезывается зуб, и мальчонка худеет, бледнеет, чахнет, становится большеглазым и чудаковатым. Бывало, мы говорили: «Всё будет хорошо, когда прорежутся глазные зубы»; но они у него появились только в два года. Или мы говорили: «Всё будет хорошо, когда прорежутся зубы, которым полагается прорезаться к двум годам»; но у него они прорезались только к трём годам.

Он был чудесным парнишкой... Да, я знаю, родители считают, что их ребёнок — лучший в мире. Если ваш малыш мал ростом для своих лет, друзья говорят, что такие дети становятся рослыми мужчинами, что он очень шустрый, умный мальчик, и лучше иметь шустрого, умного ребёнка, чем

большой, сонный кусок сала. А если мальчик ваш тупой и вялый, они говорят, что из самых тупых мальчиков выходят самые умные люди и прочее, в том духе. Я никогда не обращал внимания на такую болтовню — я знал ей цену. А всё-таки я вряд ли когда видел такого ребёнка, как Джим, когда ему исполнилось два года. Он был общим любимцем. Пожалуй, его чересчур баловали. У меня было собственное мнение касательно воспитания детей. Я находил, что Мери слишком потакает Джиму. Она говорила:

— Положи это (какую-нибудь вещь) подальше, чтобы Джим не мог дотянуться, слышишь, Джо? (А я говорил:

— Нет, пусть лежит там, где лежит, и пусть он поймёт, что нельзя этого трогать. Пусть он не капризничает за едой и ложится спать в определённый час.

У нас с Мери часто бывала перебранка из-за Джима. По её мнению, я забывал, что Джим ещё малютка. А я утверждал, что воспитание младенца можно начать с первой же недели. И думаю, что я был прав.

А в конце концов что прикажете делать?

Вы видите, что мальчик, получивший хорошее воспитание, становится бездельником, а другой, которого воспитывали, как говорится, спустя рукава, вырастает дельным человеком. А затем, если ребенок болезненный — и вы можете лишиться его в любую минуту — вам не хочется его шлёпать, хотя из него может выйти чертёнок, что нередко бывает с болезненными детьми. Допустим, вы задали ему трёпку, а в ту же ночь с ним сделали судороги или ещё что-нибудь, и он умирает — как бы вы себя почувствовали? Никогда не знаешь, что может случиться с ребёнком, так же как нельзя предугадать, что скажет или сделает иная женщина.

Я очень привязался к Джиму, и мы с ним были большие друзья. Иной раз я сидел и дивился, о чём это он, чорт возьми, размышляет, и часто мне становилось не по себе от его разговоров. Когда ему минуло два года, он во что бы то ни стало пожелал иметь трубку, и я достал новую, чистую, глиняную. Вечером, когда спадала жара, он усаживался рядом со мной на веранде или на бревне возле кучи дров, сосал свою трубку и старался сплёвывать, когда сплевывал я. Он как будто понимал, что холодная пустая трубка — это что-то не то, однако, у него хватало ума сообразить, что ему ещё рано курить табак. А если случалось ему разбить глиняную трубку, новую он не хотел брать и поднимал шум: нужно было как-нибудь починить старую с помощью верёвочки или проволоки. Если я подстригал себе волосы, он требовал, чтобы и его подстригли, и всегда волновался, глядя, как я бреюсь. Казалось, он думает, что тут что-то неладно, иначе и его следовало бы побрить. Однажды я его намылил и сделал вид, будто брею. Он сидел глубокомысленный, как сова, но, кажется, остался недоволен, может быть, у него хватило ума понять, что это что-то не настоящее. Он погладил себя по щеке, посмотрел очень пристально на мыльную пену, которую я соскрёб, и захныкал: — Нет крови, папочка!

У меня дело редко обходилось без того, чтобы не порезаться. Я всегда торопился во время бритья.

Потом он пошёл потолковать с матерью. Она понимала его лепет лучше, чем я.

Но иногда мне бывало с ним не по себе. Иной раз он сидел и смотрел на огонь, склонив голову набок, а я следил за ним и спрашивал себя, о чём он думает (с таким же успехом я мог спросить, о чём думает китаец), и начинало мне казаться, что он по крайней мере на двадцать лет старше меня. Когда я ходил по комнате или разговаривал, он иной

раз оглядывался с таким видом, как будто его интересовало, какую ещё штуку выкинет его старый глупый папа.

Была у меня занятная теория, что в чудаковатых детях есть что-то восточное или азиатское, что-то более древнее, чем наша цивилизация и религия. Однажды я начал объяснять мою мысль женщине, которая, по моему мнению, должна была понять. Но случилось так, что у этой женщины был чудаковатый ребёнок с раскосыми глазами — и к тому же очень капризный. Должно быть, вид этого ребёнка и напомнил мне о моей проклятой теории, и я, ничего не подозревая, пустился её развивать. Как бы то ни было, у меня произошла жестокая ссора с этой женщиной и её мужем, да и со всей их роднёй. Не так-то легко мне было выпутаться, дело так и не уладилось. В тех краях проживало несколько китайцев.

Я взялся по контракту огородить загон в десять миль близ Гулгонга и хорошо заработал на этом деле. Железная дорога была проложена до реки Кеджгонг — милях в двадцати от Гулгонга и в двухстах от побережья, — и в ту пору выгодно было заниматься перевозкой грузов. Была у меня пара ломовых лошадей, которых я впрягал в тяжёлые телеги, когда строил плотины, и ещё пара лошадей паслась в зарослях. Я купил по дешёвке сломанную телегу; сам кое-как починил её, окрестил «старухой» и начал перевозить грузы с конечной железнодорожной станции через Гулгонг и дальше по лесным дорогам и тропам, которые расходятся веерообразно по джунглям и ведут к городкам с одним единственным трактиром и к станциям овцеводов и скотоводов, разбросанным в глухих зарослях. Упряжка была не бог весть какая. Было у меня две ломовых лошади «в оглобли»; заморыш жеребец, которого я купил за тридцать шиллингов в загоне для скота; лошадь для рессорной двуколки; старая серая кобыла, похожая по

статьям на бело-рыжего австралийского ещё не откормленного вола, а по усердию к работе—на старую прачку, и лошадь, которая в былые времена возила почтовую карету Кобба и К°. Две лошади были чужиз; я пользовался ими и за это должен был кормить их в засуху. И была у меня самая разнообразная упряжь, которую я сам починил и приладил. Упряжку, стало быть, я кое-как подобрал, но я не брал тяжёлых грузов, быстро доставлял товары на место, а ставки за перевозку грузов были высокие. Так я и перебивался.

В прежние времена, когда случалось мне заработать несколько фунтов, я принимался рыть где-нибудь шахту в поисках золота. Но Мери не оставляла меня в покое, пока не уговорила бросить это дело.

Я решил обосноваться на маленькой ферме (один мой старый приятель огородил и расчистил участок, а потом бросил его с отвращением), находившейся милях в тридцати к западу от Гулгонга, в местечке, называвшемся Речка Лехи — Лехи Крик (в тех краях все места называются Речка Лехи, или Низина Спайсера, или Низина Мёрфи, или Переправа Райена, или ещё как-нибудь в этом роде). Я рассчитал, что у меня будет пастбище для лошадей, и я засею небольшой участок земли. Я всегда боялся завзети Мери и детей в такую глушь, где нет по близости доктора или какой-нибудь доброй соседки. Но на Лехи Крик поселились какие-то люди, и к тому же с ними был брат Мери, юный лодырь. (Его тоже звали Джим, а мы называли «Джимми», чтобы оставить место для нашего Джима, который терпеть не мог имена Джимми и Джемс.) Он поселился у нас без приглашения,— и я полагал, что на Лехи Крик найдётся для него достаточно дела, чтобы он не сбился с пути. На него нельзя было целиком положиться: ему ничего не стоило уехать за пятьсот миль, чтобы осмотреть страну». Но он любил Мери и, когда я разъезжал

по дорогам, мог составить ей компанию, пока я подыщу кого-нибудь другого. Он защитил бы её от «вечерников»¹ или стригачей, которым случалось в приступе белой горячки забрести в наши края после кутежа. Как раз перед нашим отъездом переехала в Гулгонг замужняя сестра Мери, которая вместе с мужем настояла на том, чтобы мы оставили у них на месяц маленького Джима, пока будем устраиваться на Лехи Крик. Они были молодёжны.

В конце месяца Мери собиралась поехать в рессорной двуколке в Гулгонг и взять домой Джима, но когда подошёл срок, ей нездоровилось, да к тому же на колёсах двуколки растянулись ободья, а я не успел их перетянуть. Поэтому мы отложили на неделю приезд Джима, пока не случилось мне проезжать через Гулгонг с небольшим грузом муки, которую я должен был доставить к Лехи Крик. Дороги были хороши, погода прекрасная — ничто не предвещало дождя, а на всякий случай у меня был запасной брезент, и мне предстояло провести только одну ночь под открытым небом. Вот я и решил взять с собой Джима.

Джиму только что минуло три года, и он был диковинным парнишкой. Он был таким чудачком, что иной раз пугал меня — я склонен был думать, что есть в нем что-то сверхъестественное. Но, разумеется, я никакого внимания не обращал на эту дурацкую болтовню о чудачковатых детях, которые якобы не жильцы на этом свете. Всегда найдётся какая-нибудь злобедная старая карга (а иной раз не такая уж старая и не такая карга), которая придёт и всполошит молодых родителей своим карканьем: «Вам этого ребёнка не вырастить, он слишком умён для своих лет». К чорту их!

¹ См. рассказ «Два вечерника».

Но я и в самом деле считал, что Джим не по годам смышлен, и часто говорил Мери, что нужно его придерживать и не допускать, чтобы он вел длинные разговоры со старыми золотонкателями и долговязыми, тощими шутниками из джунглей, которые появлялись по воскресеньям и привязывали лошадей к моей изгороди.

Я не доверяю родителям, которые вечно толкуют о своих ребятах — вам надоедает их слушать. А дети у них обычно бывают чертенятами и с годами превращаются в заправских разбойников.

Но несмотря на это я всё-таки считаю, что Джим в три года был во всех отношениях самым удивительным парнишкой, какого мне случилось видеть.

В течение первого часа, проведённого в дороге, он рассказывал мне о своих приключениях у тётки.

— Но они меня слишком баловали, папа,— сказал он с глубокомысленным видом туземного медведя.— И к тому же мальчик должен держаться своих родителей.

Я вёз с собой щенка-овчарку для одного погонщика скота, и этот щенок очень занимал Джима.

По временам Джим своими разговорами приводил меня в изумление, и я то и дело должен был отворачиваться и кашлять или покрикивать на лошадей, чтобы удержаться от смеха. А один раз, когда я чуть было не расхохотался, он мне сказал:

— Папа, зачем это ты подёргиваешь плечами, кашляешь и ворчишь? Ты бы лучше рассказал мне что-нибудь.

— Что же тебе рассказать?

— Расскажи какую-нибудь историю.

Вот я и стал ему рассказывать всё, что приходило в голову. Но, признаюсь, я должен был шевелить мозгами и не слишком полагаться на свою фантазию: Джим учинял жестокий допрос, когда находил на него такой стих, и он, не задумываясь,

высказал бы вам своё мнение, если бы нашёл, что вы болтаете вздор. Потом он сказал:

— Папа, я рад, что ты взял меня с собой домой. Тебе надо узнать Джима.

— Что такое! — воскликнул я.

— Тебе надо узнать Джима.

— Да разве я тебя не знаю?

— Не знаешь. Дома у тебя никогда не бывает времени узнать Джима.

Поразмыслив, я понял, что это была жестокая правда. В глубине души я всегда знал, что это правда, но теперь, услышав слова Джима, я воспринял это, как удар. Видите ли, в течение последнего года я вёл тяжёлую борьбу, и когда случалось мне проводить день-другой дома, я обычно бывал слишком завален работой, или слишком утомлён и озабочен, или слишком занят своими планами на будущее, чтобы обращать внимание на Джима. Иногда Мери разговаривала со мной об этом.

— Ты не обращаешь внимания на ребёнка,— говорила она.— Неужели у тебя не нашлось бы для него свободной минуты по вечерам? Что толку вечно тревожиться и размышлять? Когда-нибудь у тебя голова лопнет, а если ты выкрутишься, пусть это послужит тебе уроком. Ты станешь стариком, а Джим юношей прежде, чем ты поймёшь, что когда-то у тебя был ребёнок. А тогда будет уже слишком поздно.

Такие речи всегда досаждали мне, я сердился на Мери, потому что знал это слишком хорошо. О себе я никогда не беспокоился — только о Мери и детях. И по мере того, как шли дни, я часто говорил себе: «Когда будущее немножко прояснится, я буду больше внимания обращать на Джима и больше времени уделять Мери». Проходили тяжёлые дни, проходили недели, месяцы, годы... Ну, ладно!

Когда дела шли плохо, Мери начинала такой разговор:

— Почему ты не поговоришь со мной, Джо? Почему ты не поделишься со мной своими мыслями, вместо того чтобы замыкаться в себе, ломать себе голову и терзаться? Мне это тяжело. Я начинаю думать, что надоела тебе, что ты эгоист. Может быть, я сержусь, говорю с тобой резко, когда у тебя неприятности. Но откуда мне знать, если ты молчишь?

Но я думал, что она не поймёт.

Так знакомились мы с Джимом, завязывали дружбу и дремали, а эвкалипты смыкались у нас над головой, и разорванные пятна солнечного света и тени, скользя, проносились по лошадям, и по мне, и по Джиму, по передку телеги и по грузу, и снова мы спускались по склону на белую пыльную дорогу... Так ехали мы с Джимом по пустынным дорогам джунглей и через перевалы, проехали пятнадцать миль до заката солнца и расположились на ночлег у Переправы Райена на Тростниковой речке. Я выпряг лошадей и снял упряжь. Джим ужасно хотел помогать мне, но я оставил его на телеге: одна из лошадей — норовистая, рыжая, с красными глазами — была брыклива, одному человеку она сломала ногу. Я растянул на оглоблях мешки и засыпал в них мякины и зерна, а лошади стояли вокруг, повернувшись хвостами к северу, югу и западу, свесили головы между оглоблей, жевали и помахивали хвостом. Для упряжек мы пользуемся двойными оглоблями — две пары рядом, — подпираем их палками и натягиваем на них мешки так, чтобы они обвисали по середине и служили торбой. Запасной брезент я повесил с одной стороны на колёса, а большой кусок его лежал на земле на случай сырости, и теперь брезент заменял пол и защищал от ветра. Я сбросил с телеги мешки, одеяла и ковёр из шкурок опоссумов и устроил у колеса палатку для Джима и для щенка. Я снял также ящик из-под бутылок джина, в котором мы держали провизию, достал сковороду и

котелок, разложил поблизости большой костёр возле поваленного дерева, и мы расположились очень удобно. Переправа Райена — прекрасное место для привала. Я стоял с трубкой во рту, заложив руки за спину и повернувшись спиной к костру, и обозревал местность.

Тростниковая речка спускается с западного отрога горного хребта; берега здесь были крутые и зелёные, и река катила свои прозрачные воды по граниту, галькам и песку. За нами тянулась скучная низина, заросшая сучковатыми трухлявыми «туземными яблонями» с серой корой (они так же похожи на яблони, как туземный медведь на всякого другого медведя), и скверный участок песчаной пыльной дороги, которую я в дождливую погоду всегда рад был оставить позади. Слева, на нашем берегу реки, были заросшие тростником болота с квакающими лягушками, а за рекой тёмные, покрытые буксовым кустарником горные хребты спускались крутыми склонами к берегу и окаймлявшей их главной дороге, которая уходила на запад через горное «седло» и дальше, к Даббо. Дорога у Лехи Крик, ведущая к местечку Коббора, пересекала скучные низины, где росли яблони и деревья с волокнистой корой, и разветвлялась как раз за переправой. Все эти боковые ветки, расходившиеся веерообразно от Кеджгонга, были охвачены большой подковой — Великой Западной железной дорогой — и давали возможность мелким возчикам подработать теперь, когда кареты Кобба и К° и большие упряжки и подводы перекочевали дальше от конечной станции Западной железной дороги. Вдоль речки росли высокие дубы, и купа таких дубов маячила над глубоким водоёмом выше переправы. У этих речных дубов ствол покрыт грубой корой, как у английских вязов, но они гораздо выше и разветвляются ближе к вершине, а их листья напоминают тростниковые. Австралийский поэт Кен-

долл называет их «дубовыми арфами Эола». Эти деревья всегда вздыхают — этот звук больше похож на вздох, чем на шелест или шорох эвкалиптов, когда дует ветер. Вы слышите их вздохи, даже если не замечаете ни малейшего ветерка. То же самое бывает с телеграфными проводами: в тихий безветренный день прижмитесь головой к телеграфному столбу, и вы услышите и почувствуете далёкое гуденье проводов. Но ведь дубы не связаны с пространством, где, быть может, гуляет ветер. И в бурю они не ревут, они вздыхают громче и тише в зависимости от ветра, а высота тона как будто всегда одна и та же, и походят они на большую арфу с одинаковыми струнами. Мне казалось, что этим речным дубам голос ветра передаётся, так сказать, по телефону — через землю.

Оглянувшись, я увидел Джима. Я думал, он сидит на брезенте и играет со щенком, но он стоял тут же, рядом со мной, широко расставив ноги, заложив руки за спину и повернувшись спиной к костру.

Он наклонил голову набок, и в его больших карих глазах было такое старческое, старческое и мудрое выражение — словно вот уже лет сто, как он был ребёнком, или вот теперь прислушивается к этим дубам и понимает их как-то по-стариковски.

— Папа! — сказал он вдруг. — Папа, как ты думаешь, я буду когда-нибудь большим?

— Что... что такое, Джим? — ахнул я.

— Потому что я не хочу быть большим.

Я не мог придумать никаких доводов против этого. Мне стало не по себе. Но помню, в детстве я сам боялся стать «большим».

— Джим, — сказал я, чтобы нарушить молчание, — ты слышишь, что говорят дубы?

— Нет, не слышу. А разве они говорят?

— Да, — сказал я, не подумав.

— А что они говорят? — спросил он.

Я взял ведро и спустился к речке за водой для чая. Я думал, что Джим тоже пойдёт со своим маленьким жестяным котелком, но он не пошёл. Когда я вернулся к костру, он уже опять сидел на ковре и ласкал щенка. Я поджарил на сковородке бэкоп с яйцами, которые захватил с собой, Джим крикнул мне:

— Не поджаривай много, папа! Я не хочу есть.

В честь Джима я расставил на чистом, новом мешке из-под муки жестяные кружки и тарелки, а затем подал ужин. Джим развалился на ковре и равнодушно смотрел на щенка. Я решил, что он устал, придвинул к нему ящик вместо стола и поставил его тарелку. Но он съел только два-три куска, а потом сказал:

— Я не хочу есть, папа. Тебе придётся одному всё съесть.

Мне стало не по себе: не люблю, когда мой ребёнок отворачивается от еды. В Гулгонге ему дали лососины из консервной банки, и я боялся, что у него расстроился желудок. Я всегда был против этих дрянных консервов.

— Тебя тошнит, Джим?— спросил я.

— Нет, папа, меня не тошнит. Я не знаю, что такое со мной.

— Хочешь чаю, сынок?

— Да, папа.

Я дал ему чаю с молоком: я взял для него бутылку у его тётки. Он отхлебнул один-два глотка, а потом поставил бутылку на ящик.

— Джим устал, папа,— сказал он.

Я заставил его лечь и начал устраниваться на ночлег. Становилось прохладно, поэтому я спустил с обеих сторон телеги большой брезент: он служил крышкой для больших грузов, а мешки с мукой не поднимались выше боковых перекладин телеги, поэтому брезент доходил теперь до самой земли. Джиму

я сделал удобную постель под задним концом телеги. Когда я подошёл, чтобы перенести его туда, он лежал на спине и смотрел на звёзды не то мечтательным, не то зачарованным взором, который мне не понравился. Если Джим бывал особенно чудаковатым или ласковым, значит, быть беде.

— Как ты себя чувствуешь, сынок?

Казалось, прошла минута, пока он меня услышал и оторвался от звёзд.

— Джиму лучше, папа.

Потом он сказал что-то в таком роде: «Звёзды смотрят на меня». Я подумал, что он в полусне. Я снял с него курточку и башмаки, перенёс его под телегу и удобно устроил его на ночь.

— Поцелуй меня, бай-бай, папочка, — сказал он.

Лучше бы он меня не просил: это был плохой знак. Когда я отошёл к костру, он снова позвал меня.

— Что тебе, Джим?

— Папочка, дай мне, пожалуйста, мои вещи и щенка.

Тут я забеспокоился. Своими вещами он называл игрушки и всякий хлам, который взял с собой из Гулгонга, а я вспомнил, что в последний раз, когда у него были судороги, он положил к себе в постель все свои игрушки и котёнка. А «бай-бай» и «папочка» входили в словарь двухлетнего Джима. Я думал, что он забыл эти словечки, но он как будто возвращался к прошлому.

— Тебе тепло, Джим?

— Да, папа.

Я стал шагать взад и вперёд — я всегда это делал, когда мной овладевала тревога.

Теперь я боялся за Джима, хотя старался скрыть это от себя. Потом он снова позвал меня.

— Что такое, Джим?

— Сними с меня одеяла, отец, — Джим болен!

(В Гулгонге его научили говорить «отец».)

Вот тут-то я струхнул. Я вспомнил, как у одного из наших соседей умерла дочка — она проглотила булавку, и перед смертью она сказала:

— Сними с меня одеяло, мама, я умираю.

И я не мог выбросить это из головы.

Я откинул одеяло из шкурок опоссума и потрогал лоб Джима: мне показалось, что жару нет.

— Где у тебя болит, сынок?

Никакого ответа. Потом он вдруг сказал, но таким голосом, как будто говорил во сне:

— Пожалуйста, надень мне башмаки, папочка. Я хочу идти домой к маме.

Я подержал его за руку и стал успокаивать. Потом он заснул тревожным, лихорадочным сном.

Я взял ведро, из которого поил лошадей, и приладил его над огнём, затем сбежал к речке с большой жестянкой из-под керосина, наполнил её доверху холодной водой и поставил под рукой. Я взял лопату (мы всегда берём с собой лопату, чтобы в дождливую погоду откапывать колеса, увязшие в болоте), отогнул угол брезента, вырыл небольшую яму, опустил в неё брезент и утоптал его ногами, чтобы он служил ванной, если случится самое худшее. Была у меня жестянка с горчицей, и я решил вести жестокий бой за Джима, если придёт смерть.

Я подлез под задний край телеги и пощупал Джима. Голова его горела, а кожа сделалась шершавой и сухой, как кость.

Тогда я потерял голову и начал метаться между телегой и костром и повторять слова, которые, я слышал, говорила Мери в последний раз, когда мы сражались за Джима: «Боже, оставь мне моего ребёнка! Боже, оставь мне моего мальчика!» Никогда не было у меня большой веры в докторов, но как мне сейчас нужен был доктор! Не было ни одного ближе, чем в пятнадцати милях.

Я откинул голову и в отчаянии уставился вверх, на ветви, и... Ну, что ж, я не прошу вас принимать это на веру, хотя, когда речь идёт о джунглях в ночную пору, почти все старые их обитатели готовы поверить чему угодно... Может быть, это объясняется тем, что нервы у меня были расстроены, или это вырисовался кусочек неба меж тихо покачивающихся ветвей, а может быть, поднялся к небу синий дым. Но я увидел фигуру женщины, в белом, она спускалась ниже, ниже, почти до нижних веток деревьев, указала на главную дорогу, а потом стала взмывать к небу, не переставая указывать вдаль, и скрылась. Я подумал, что Мери умерла! И вдруг меня осенило...

Милях в четырёх или пяти вверх по дороге, уже за «седлом» стояла старая лачуга. В былые времена, когда Великая Западная железнодорожная линия ещё не дошла до Даббо и по старым дорогам в джунглях сообщение ещё поддерживалось каретами, эта лачуга была придорожным трактиром. Теперь там жил некий Брайтен; понемножку он занимался земледелием и вёл тайную торговлю грогом. Он был женат, но не это было важно. Его жена была бездетной, измученной, унылой женщиной, а от тяжёлой жизни и одиночества они оба немножко свихнулись. И вряд ли я мог извлечь из них пользу. Но дело вот в чём: в Гулгонге я слышал, как женщины толковали о сестре жены Брайтена, которая недавно поселилась у них. Она служила экономкой в больнице в Сиднее, и о ней ходили всевозможные слухи. Кое-кто утверждал, будто её прогнали за то, что она критиковала докторов — или путалась с ними — забыл, за что. Женщина из Сиднея поселилась в таком месте, с такими людьми — этого было достаточно, чтобы о ней заговорили женщины в городке, находившемся на расстоянии двадцати миль. Тем не менее должна была она

чем-то выделяться среди окружающих, иначе не стали бы говорить о ней обитатели джунглей и не пошла бы о ней такая широкая молва. Обо всём этом я успел подумать с молниеносной быстротой, пока стоял на коленях, нагнувшись над Джимом, между больших задних колёс телеги.

Была у меня старая скаковая кобыла, которая обычно ходила под седлом, следуя за упряжкой. В одну минуту я оседлал и взнуздal её. Я завязал мешок, до половины набитый мякиной, перетряхнул мякину так, чтобы она пересыпалась в оба конца, и взвалил его на луку седла — он должен был служить Джиму подушкой или буфером. Затем я завернул Джима в одеяло и вместе с ним взобрался на лошадь.

Ещё минута, и мы уже спускались по крутому берегу к реке, с шумом и плеском миновали переправу и, поднявшись на противоположный берег, вырвались на ровное место. Кобыла, как я уже сказал, была старой скаковой лошадию, но с запалом. У неё был сильно развит инстинкт старого скакуна, и когда случалось мне ездить в компании, я должен был её придерживать, потому что она во что бы то ни стало стремилась перегнать другую лошадь. Никогда ещё не бывало у меня лучшей лошади для верховой езды. Она бежала ровню, как катятся колёса по рельсам, — стоило ей только разойтись — и по временам подрагивала, как железнодорожный вагон.

Мешок с мякиной сполз и, вероятно, упал в речку, и я бросил поводья и всю дорогу держал Джима на руках, как грудного младенца. Пусть попробует самый сильный человек, непривычный к такому делу, поддержать младенца на руках в одном положении в течение пяти минут, а Джим весил немало. Но в ту ночь я даже не почувствовал боли в руках, должно быть, она прошла, пока я ещё нахо-

дился в таком состоянии, что не мог её почувствовать. А дома я частенько ворчал, когда меня просили взять на несколько минут на руки ребенка. Я не мог одновременно предаваться со всеми удобствами своим размышлениям и нянчить младенца.

Была призрачная лунная ночь. Нет на земле леса такого призрачного, как австралийские джунгли при луне — или перед рассветом. Причудливые пятна лунного света падают между растрёпанных, искривленных веток; там и сям возникают призрачные «белые буксы» с голубовато-белой корой, или мёртвое оголённое белое дерево с корой, срезанной кольцом вокруг ствола, или мертвый белый пенёк, на рваные пятна тени и света на дороге прикидываются чем угодно — то пятнистым волком, то раздетым донага трупом, выставленным напоказ. Лунный свет прокладывает в джунглях дороги и тропы, и каждая кажется более прямой и рисуется отчётливее, чем настоящая дорога; в таких случаях нужно полагаться на свою лошадь. Иной раз попадаетея дерево с красной волокнистой корой, полоса коры с него содрана, и обнажённый белый ствол выступает, как привидение, из тёмных зарослей. И везде сверкает роса или изморозь, в зависимости от времени года. Время от времени огромный серый кенгуру, который пасся на зеленой лужайке при дороге с шумом обращается в бегство и взлетает по склону.

Казалось, в ту ночь джунгли кишели привидениями — всем было по пути со мной, и всех оставляла позади моя кобыла. Один раз я сделал остановку, чтобы посмотреть на Джима. Мне достаточно было выпрямиться в седле, и кобыла остановилась, как вкопанная — она привыкла следовать за гуртом и отрезать путь отстающим. Я ощупал руки и лоб Джима, он горел, как в огне. Я наклонился к луке, и

старая кобыла снова пустилась вперёд. Я твердил вслух — и мы с Мери часто над этим смеялись (впоследствии): «Он ещё мягкий! Джим ещё мягкий! (Казалось, страх вырывает у меня эти слова.) Он ещё мягкий!» и ноги кобылы подхватили ритм. Я думал, что она достигла предела и не может мчаться быстрее, как вдруг она рванулась вперёд, словно вагон трамвая мерно скользил по инерции, и внезапно повернули рычаг. Именно так поступила бы она, если бы я мчался один и нас начала догонять чужая лошадь... инстинкт старого скакуна. Я тоже что-то почувствовал! Как будто и в самом деле мчалась лошадь! И тогда — ужас вырывал у меня эти слова — я начал твердить: «Смерть скачет этой ночью! Смерть скачет этой ночью!» и стук копыт совпал с ритмом этих слов. Мне кажется, что и старая кобыла почуяла рядом чёрного коня и решила перегнать его, хотя бы у неё разорвалось сердце.

От беспокойства и страха я был, как сумасшедший. Помню, я твердил: «Я буду ласковей с Мери! Я буду обращать большое внимание на Джима!» и мало ли что ещё...

Не знаю, когда старая кобыла замедлила бег, я этого не заметил: я держал на руках Джима и сжимал коленями седло. Помню, седло подскакивало от отчаянных прыжков лошади, и я боялся, что лопнет подруга. Мы поднялись на перевал и спустились в ущелье, прозванное Лощиной мертвеца, и там, в конце призрачной просеки, выходящей на дорогу, где били из чернозёма ключи, стояло длинное, низкое, обшитое досками и дранкой строение со слепыми, разбитыми окнами под коньком крыши и широким навесом над верандой, круто спускавшимся почти до подоконников, — я подумал, что есть что-то зловещее в этой крыше, она похожа на шляпу с опущенными полями, надвинутую на глаза убийцы. Это место казалось и необитаемым и населённым

призраками. Нигде в окнах я не видел света, но это объяснялось тем, что светила луна. Кобыла свернула к углу расчищенного участка, выбирая кратчайший путь к лачуге, и пока она пересекала болотистое место, из сердца у меня вырывались слова: «Дом пуст! Они уехали! Пустой дом!» Кобыла обогнула строение и остановилась между задней дверью и большой кухней из коры и горбылей. Из дома кто-то крикнул:

— Кто там?

— Это я, Джо Уилсон. Мне нужна ваша свояченица... я привёз мальчика... он болен... умирает. Вышел Брайтен, подтягивая молескиновые штаны.

— Какой мальчик? — спросил он.

— Вот он, держите! — крикнул я. — Дайте мне сойти с лошади.

— Что с ним такое? — спросил Брайтен и как будто попятился.

Только что я занёс ногу, чтобы слезть с седла, как голова Джима завадилась через мою руку, тело напряглось, и я увидел, что глаза закатились и блестят при лунном свете.

Я весь похолодел, но голова была ясная. Странно, не правда ли? Не знаю, почему я не слез с лошади и не бросился в кухню, чтобы приготовить ванну. Я почувствовал только, что настало самое худшее, и вдруг мелькнуло — не лучше ли, чтобы поскорее всё кончилось... А затем так же внезапно мелькнула мысль о Мерри и о похоронах.

Из дома выбежала женщина — большая, суровая на вид женщина. На ней была наброшена какая-то шаль, а ноги были босы. Она коснулась рукой Джима, заглянула ему в лицо, потом выхватила его у меня из рук и побежала в кухню, а я слез с седла и бросился за ней. Великое было счастье, что у них вываривалось в бидоне из-под керосина какое-то грязное бельё: кухонные полотенца и ещё что-то.

Свояченица Брайтена выхватила из-под стола лохань, сорвала с крюка бидон и вылила в лохань воду вместе с кухонными полотенцами, схватила сгорявшую в углу жестянку с холодной водой и опрокинула её туда же, потом попробовала воду рукой. Всё время она держала Джима, прижимая его к своему бедру, и лучше уж я не буду говорить о том, какой у него был вид. Мгновенно она поставила Джима в лохань и принялась плескать на него водой и срывать с него одежду.

— Жестянка с горчицей... там, на полке! — крикнула она.

Она сбила крышку с жестянки о край лохани и продолжала плескать водой и шлёпать Джима.

Казалось, прошла целая вечность. А что сказать о себе? Никогда в жизни голова у меня не была такой ясной. Я был спокоен: я чувствовал, что непрочь был бы воспользоваться каким-нибудь предложением, чтобы уйти и вернуться, когда всё будет кончено. Я подумал о Мери и о похоронах — не лучше ли, чтобы всё это было уже позади! А мысли мелькали с молниеносной быстротой. Я почувствовал, что так было бы легче. Я хотел только одного, чтобы миновало несколько месяцев после похорон. Мои мысли... да, мои мысли были только эгоистические. Я думал только о себе.

Свояченица Брайтена плескала на Джима водой и шлёпала его ладонью — шлёпала так сильно, что я подумал, как бы не сломался у него позвоночник.

Это продолжалось, должно быть, с полчаса, и вот тело Джима размякло, он соскользнул вниз, в лохань, и показались зрачки глаз. Глаза были мутные и бессмысленные, как у новорождённого, но он снова вернулся в этот мир.

Я тяжело опустился на табурет у стола.

— Всё в порядке, — сказала она. — Теперь всё прошло. Я бы не дала ему умереть.

Я подумал только: «Да, теперь всё прошло, но это опять придёт. Лучше бы это кончилось раз и навсегда. Я устал».

Она позвала свою сестру, миссис Брайтен, вылинявшую, беспомощную глупую маленькую женщину, которая всё время прибегала и убегала и хныкала.

— Джесси! Принеси с моей кровати новое белое одеяло. А ты, Брайтен, вытащи несколько поленьев из очага и заткни чем-нибудь эту дыру, чтобы не было тяги.

Брайтен—приземистый маленький человечек с лицом, заросшим бакенбардами — бегал к куче дров и приносил поленья. Теперь он выгреб дрова, заткнул щель, пошёл в дом и притащил оттуда чёрную бутылку. Он достал чашку с полки и поставил у своего локтя бутылку и чашку.

Миссис Брайтен принялась готовить ужин или завтрак, всё равно — что. У неё нашлась чистая скатерть, и она аккуратно накрыла на стол. Я заметил, что все жестянки начищены до блеска (жестянки из-под кофе и горчицы, которыми они пользовались вместо сахарницы, чайницы и солонки), и в кухне была образцовая чистота. Миссис Брайтен годилась на маленькие дела. Я знал одну измученную, заморённую работой женщину джунглей, которая начищала старые жестянки так, что они слепили глаза, и вкладывала в эту работу всю свою душу — или то, что у неё осталось от души.

Меня не тянуло к оловянке, демперу и чаю. Я сидел и искоса поглядывал на свояченицу Брайтена, когда думал, что она на меня не смотрит. Это была крупная женщина, руки и ноги большие, но красивой формы. Красивая женщина — я бы ей дал лет сорок. У неё был квадратный подбородок и прямые тонкие губы, но уголки рта слегка опущены — я подумал (а у меня мелькают иной раз странные мысли), что в те дни, когда она ещё не очерствела, это был

признак слабости. Но теперь от слабости ничего не осталось. У неё были жёсткие серые глаза и иссиня чёрные волосы. В разговор она не вступала. Она не спросила меня, как заболел мальчик и как я сюда попал, не спросила, кто я и что я — ни о чём не спрашивала до вечера и вечернего чаепития.

Она сидела выпрямившись, Джим, завёрнутый в одеяло, лежал у неё па коленях, одну руку она подсушила ему под голову, а другою слегка придерживала его и тихо покачивала.

Она сидела, пристально смотря прямо перед собой, — я видел одну усталую швею, которая сидела так же, как она, опустив на колени шитьё и глядя в прошлос. И о Джиме она как будто думала не больше, чем думала бы о шитье, лежащем у неё на коленях. Иногда она морщила лоб и моргала.

Вдруг она повернула голову и сказала — таким тоном, словно я был её мужем и она не очень-то высокого мнения обо мне:

— Почему вы ничего не едите?

— Простите?

— Съеште что-нибудь!

Я выпил чаю и ещё раз посмотрел на неё украдкой. Я начал приходить в себя, и мне опять был нужен Джим — теперь, когда на лице его снова появился румянец и он перестал походить на неестественно окоченевший труп с вытаращенными глазами. Я почувствовал клубок в горле, и мне захотелось поблагодарить её. Опять я взглянул на неё украдкой.

Она смотрела широко раскрытыми глазами прямо перед собой... Я никогда не видел, чтобы лицо женщины изменилось так внезапно... Я никогда не видел у женщины таких измученных и безнадёжных глаз. Потом её пышная грудь два раза тяжело поднялась и опустилась, я слышал, как она протяжно и прерывисто вздохнула, словно загнанная лошадь, и две крупные слезы скатились из широко раскрытых глаз

и поползли по щекам, как дождевые капли по камню. И при свете очага они казались окрашенными кровью.

Я быстро отвернулся, почувствовав, что у меня самого сжимается горло. И вдруг она сказала (я не видел, как она оглянулась):

— Идите спать.

(Лицо у неё было опять такое же, как раньше.)

— Простите?

— Идите спать. Вам постлали постель на диване там, в доме.

— Но... упряжка... я должен...

— Что такое?

— Упряжка. Я оставил её на привале. Я должен позаботиться о ней.

— А... Ничего, Брайтен съездит утром и доставит её сюда — или пошлёт полукровку. А теперь идите спать и хорошенько отдохните. С мальчиком ничего не случится. Я присмотрю за ним.

Я вышел из кухни — какое это было облегчение! — и пошёл проведать кобылу. Брайтен засыпал ей зерна и мякны в ящик из-под свечей, но она ещё не могла есть. Она стояла, поднимая то одну заднюю ногу, то другую и держа морду поверх ящика — и всхлипывала. Я обхватил её руками за шею, уткнулся лицом в косматую гриву и заплакал — второй раз в жизни с той поры, как стал взрослым.

Направляясь к дому, я услышал, как свояченица Брайтена сказала неожиданно и резко:

— Убери *это*, Джесси.

И вскоре я увидел, как миссис Брайтен унесла в дом чёрную бутылку.

Луна спряталась за горный хребет. Минутку я постоял между домом и кухней и осторожно заглянул в окно кухни.

Она пересела от очага ближе к столу. Она сидела, склонившись над Джимом, прижимала его к себе и баюкала.

Я лёг спать и проснулся во второй половине дня. Проснулся я как раз во-время, чтобы услышать конец разговора между Джимом и свояченицей Брайтена. Он приглашал её к нам на ферму, и она обещала приехать.

— А теперь,—сказал Джим,—я хочу сесть в «старуху» и поехать домой, к маме.

— Что такое?

Джим повторил.

— Ах, вот что! «Старуха»—это, верно, телега!

Конец дня я провёл, бродя по оврагам со старым Брайтеном, который показывал найденные им «признаки» (месторождения золота). Не имело никакого смысла выведывать у него что-нибудь о свояченице, Брайтен был «стреляный воробей» и ещё в те времена, когда в джунглях процветал разбой и угон скота, научился ничего не знать о чужих делах. Кстати, я тогда заметил, что чем больше вы разговариваете с человеком, который создал себе дурную славу, и чем больше его слушаете, тем слабее становится ваша неприязнь к нему.

Никогда я не видел, чтобы женщина так изменилась, как изменилась в тот вечер свояченица Брайтена. Она стала жизнерадостной и весёлой и помолодела по крайней мере на десять лет. Она суетилась и помогала сестре готовить чай. Извлекла старую фарфоровую посуду, которую миссис Брайтен куда-то запрятала, и сервировала стол так, как мне редко случалось видеть в тех краях. Усадив Джима и обложив его подушками, она смеялась и играла с ним как большая девочка. Она рассказывала о Сиднее и тамошней жизни, и таких рассказов я ещё не слыхивал. А о джунглях и о золотонискателях былых времён она знала не меньше, чем я. Старый Брайтен и я слушали, смеялись и засиделись с ней почти до полуночи. А когда говорил я, она как будто тотчас всё схватывала. Если она хотела

описать что-нибудь, чего мы не видели, она не говорила: «это похоже на что-то такое... на что-то такое» и не мямлила (вы понимаете, что я хочу сказать), а сразу попадала в точку. Днём здесь проходил какой-то скваттер, с круглой, огненно-красной физиономией и в белом пробковом шлеме; она сказала, что шлем был, «как гриб на восходящей луне». Заговорив о детях, она дала мне много полезных советов.

Но утром она снова притихла. Я запряг лошадей, а она одела Джима, дала ему позавтракать и приготовила для него удобное местечко на нагружённой телеге, взяв для этого ковёр из шкурок опоссума и запасную подушку. Она стала на ступицу колеса, чтобы самой всё устроить. Потом настал трудный момент. Я хотел было заговорить с ней, но отвернулся и пошёл прилаживать упряжь, а затем сделал ещё одну неудачную попытку попрощаться с ней. Наконец она взяла на руки Джима, поцеловала его и хотела посадить на колесо, но он крепко обнял её за шею и поцеловал, а Джим редко целовал кого-нибудь, кроме матери, вы бы не назвали его ласковым ребёнком. Со свойственной ему чудаковатостью он всегда только подставлял мне щеку. Я взобрался на телегу с другой стороны, чтобы взять у неё Джима.

— Вот, держите его,— сказала она.

Я видел, как скривился у него рот, когда я его поднял. Джим плакал редко, как бы ни был он огорчён. Я выиграл время, усаживая поудобнее Джима.

— Пора вам трогаться,— сказала она.— Вам нужно пораньше добраться с мальчиком до дому.

Я слез с телеги и подошёл к ней. Я протянул руку и попробовал заговорить, но голос у меня походил на скрип несмазанного колеса, так что я отказался от этой попытки и только сжал до боли её руку.

— Хорошо, хорошо,— сказала она.

Потом слёзы навернулись у неё на глаза, и вдруг

она положила руку мне на плечо и поцеловала меня в щеку.

— Отправляйтесь... вы сами ещё мальчик. Берегите этого малыша, будьте ласковы с женой и берегите себя.

— Вы к нам приедете?

— Когда-нибудь,— сказала она.

Я отъехал и ещё раз оглянулся. Она смотрела на Джима, который махал ей рукой с нагружённой телеги. И снова я увидел этот измученный, жадный, безнадёжный взгляд, хотя слёзы заволакивали ей глаза.

Рассказывая эту историю Мери, я многое смазал и многое пропустил — мне не хотелось ее расстраивать. Но вскоре после того, как я привёз Джима домой из Гулгонга, Мери то что бы то ни стало захотела поехать к Брайтену и повидать его свояченицу, пока я засел на несколько дней дома с упряжкой. Однажды утром Джемс повез её в рессорной двуколке. Путь был дальний, они заночевали у Брайтена и вернулись только на следующий день к вечеру. Я «хозяйничал» самостоятельно и превратил дом в «свинушник», по выражению Мери, а когда они приехали, я лежал на диване и дремал. Вот первое, что запомнилось мне: кто-то гладит меня по голове, целует, и я слышу голос Мери:

— Мой бедный мальчик! Мой бедный старый мальчик!

Я подскочил. Я подумал, что с Джимом опять началось. Но, оказывается, Мери говорила обо мне. Потом она начала выдёргивать у меня селье волосы и прятать их в пустую спичечную коробку, чтобы посмотреть, сколько наберётся. Она обычно занималась этим делом, когда ей случалось расчувствоваться. Не знаю, что сказала она свояченице Брайтена и что ей сказала свояченица, но в течение нескольких дней Мери была особенно нежна.

БУДИЛЬНИК АРВИ ЭСПИНОЛЛА

В одной из ежедневных газет появилась заметка о том, что в четыре часа утра констебль нашёл маленького мальчика, спящего под дождём у двери фабрики братьев Грайндер. Он разбудил его и потребовал объяснения.

Мальчуган рассказал, что он здесь работает и боялся опоздать; рабочий день у него начинается в шесть утра, и он, видимо, очень удивился, узнав, что было только четыре часа. Констебль развернул маленький свёрток, который держал в руке испуганный ребёнок. В свёртке был чистый передник и три куска хлеба с патокой.

Далее мальчик рассказал, как он проснулся и подумал, что уже поздно, но не хотел будить мать и спрашивать у неё, который час,— «потому что она стирала». Он не посмотрел на часы, потому что «у них нет часов». Он не пытался объяснить, каким образом мог бы он узнать у матери, который час, но, может быть, как многие малыши, он глубоко верил, что мудрость матери границ не имеет. Его зовут Арви Эспинолла, простите, сэр, и живёт он в Джонс Эли. Отец умер.

Спустя несколько дней та же газета имела удовольствие сообщить по поводу «трогательного инцидента», отмеченного в одном из последних номеров, что некая милосердная светская леди начала сбор денег по подписке среди своих друзей с целью приобрести будильник для маленького мальчика, найденного спящим у двери фабрики братьев Грайндер.

Спустя ещё некоторое время было объявлено, в связи с трогательным инцидентом, что будильник был куплен и вручён матери мальчика, которая не находила слов, чтобы выразить свою благодарность. Узнали также — из другого источника, — что это сильно преувеличено.

Трогательный инцидент был исчерпан в последней заметке, не оставлявшей никаких сомнений в том, что милосердная светская леди — не кто иной, как очаровательная и высокообразованная дочь фирмы Грайндер.

Кончился последний день пасхальных каникул, которые Арви, Эспинолл, сильно простуженный, провёл в постели. Он всё ещё, по его словам, был «крупозным». Было около девяти часов, и деловая жизнь Джонс Эли была в полном разгаре.

— Мне лучше, мама, куда лучше, — сказал Арви. — От сахара и уксуса выделяется мокрота, и кашель из меня выходит.

В течение нескольких минут кашель выходил так, что Арви не мог говорить. Отдышавшись, он сказал:

— Лучше мне или хуже, но завтра я должен идти на работу. Дай мне будильник, мама.

— А я тебе говорю, что ты не пойдёшь. Ты себя в гроб вгонишь.

— Что толку говорить об этом, мама? Мы не можем умирать с голоду... а вдруг возьмут на мое место другого? Дай мне будильник, мама.

— Я пошлю кого-нибудь из ребятишек сказать, что ты болен. Конечно, тебя отпустят на один-два дня.

— Никакого толку не будет. Они не станут ждать. Я их знаю — какое дело братьям Грайндер до того, что я болен? Не горюй, мама, я ещё поднимусь повыше их всех. Дай же мне будильник, мама.

Она дала ему часы, и он начал заводить их.

— Что-то неладно со звоном, — пробормотал он, — вот уже две ночи, как что-то с ним не ладится, но я рискну. Поставлю на пять часов, тогда я успею одеться и прийти пораньше Эх, если б не так далеко было идти!

Он притих, читая слова, выгравированные вокруг циферблата:

Кто рано ложится и рано встаёт
Здоровье, богатство и ум наживёт.

Он часто читал этот стишок и был в восторге от ритма и рифмы. Он повторял его про себя снова и снова, не вникая в смысл и философическое значение. Ему и в голову не приходило подвергать сомнению то, что напечатано, а ведь это было выгравировано! Но сейчас его словно осенило. Он начал вдумываться в изречение, потом прочёл его второй раз вслух. Снова он молча стал размышлять над ним.

— Мама! — сказал он вдруг. — Я думаю, это враки.

Она поставила часы на полку,правила его постель на диване и потушила свет.

Арви как будто спал, но она лежала без сна и думала о своих невзгодах. Думала о муже, которого однажды принесли с работы мёртвым; о старшем сыне, который забредал к ней только для того, чтобы сидеть у неё на шее, когда его выпускали из тюрьмы; о втором сыне, свившем себе гнездо в другом городе и больше в ней не нуждавшемся; о третьем — о бедном, хрупком маленьком Арви, который мужественно старался быть ей помощником и истощал свои детские силы у братьев Грайндер, когда ему следовало бы ходить в школу; о пятерых беспомощных малышах, спавших в соседней комнате; о своей трудной жизни — мыть полы с половины шестого до восьми, потом приниматься за подённую работу — стирку. О необходимости растить детей в трущобе, потому что она не может переехать и платить дорожке за квартиру; и о квартирной плате.

Арви начал бормотать что-то во сне.

— Тебе не спится, Арви? — спросила она. — Горло болит? Дать тебе что-нибудь?

— Мне хочется спать,— сонным голосом пробормотал он,— но, кажется, и минутки не пройдёт, как уже... как уже...

— Что — как уже, Арви? — быстро спросила она, боясь, что он начинает бредить.

— Как уже зазвонит будильник!

Он разговаривал во сне.

Она потихоньку встала и поставила будильник на два часа вперёд.

— Теперь он может спать спокойно,— прошептала она.

Спустя немного Арви вдруг сел, выпрямился и быстро проговорил:

— Мама! Мне послышалось, что будильник зазвонил!

Потом, не дожидаясь ответа, снова лёг и заснул.

Дождь перестал, и яркое звёздное небо раскинулось над морем и городом, над трущобами и виллами; но его почти не видно было из лачуги в Джонс Эли, виден был только Южный Крест да несколько звёзд вокруг. Была, как выражаются леди, «прелестная ночь», если любоваться ею из дома Грайндер — «Грайндервиль» — с его залитыми лунным светом террасами и садами, полого спускающимися к воде, с его окнами, освещёнными по случаю пасхального бала, с его залами, где толпились в своём узком замкнутом кругу гости, и одна из очаровательных и высокообразованных дочерей до слёз растрогала избранное общество патетической декламацией о маленьком метельщике улиц.

С будильником и в самом деле что-то не ладилось, а может быть, миссис Эспинолл ошиблась, переводя стрелку, потому что неожиданно раздался среди ночи звон. Мучительно вздрогнув, она проснулась и лежала тихо, думая, что Арви сейчас вскочит. Но он не вскочил. Она повернула бледное испуганное лицо к дивану, где он лежал,— свет единственного

уличного фонаря наверху на тротуаре падал вниз, в окно, и она увидела, что он не пошевелился.

Почему будильник не разбудил его? У него такой чуткий сон.

— Арви! — позвала она.

Никакого ответа.

— Арви! — позвала она снова, и в голосе странно прозвучали нотки укоризны и ужаса.

Арви не отвечал.

— Боже мой! — простонала она.

Она встала и подошла к дивану. Арви лежал на спине, скрестив руки, — любимая его поза, когда он спал. Но его глаза были широко раскрыты и обращены вверх, словно взгляд проникал сквозь потолок и крышу туда, где следовало бы обрести бога.

ВИЗИТ И СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

— Старуха, здесь живёт Арви?

— А тебе что нужно?

— Будь я проклят! Не можете вы ответить на вежливый вопрос?

— Как ты смеешь так разговаривать со мной, разбойник? Пошёл вон! Него пошлю за полисменом.

— К чорту полицию! Очень она мне пужна! Вот позову сейчас ребят, и разломаем твою старую лачугу так, что она тебе на голову рухнет, старая ты корова! Я только спросил, здесь ли живет Арви. Не может, что ли, парень задать вежливый вопрос?

— Да тебе-то зачем понадобился Арви? Ты его знаешь?

— Вот чорт! Да разве он не работает у братьев Грайндер? Я даже в сторону нарочно свернул, что-

бы оказать ему услугу. А теперь жалею, что пришёл,— будь я проклят, если не жалею! Тут ещё издеваются надо мной и глотку мне затыкают. (Пауза.) Я хотел сказать Арви, что если он не выйдет на работу, другой парень пролезет на его место. Не могу я молчать, когда один парень собирается перехватить работу у другого, я должен предупредить. Да что такое с Арви? Болен он, что ли?

— Арви умер!

— Иисусе Христе! (Пауза.) Да ну вас! Что вы мне морочите голову? Скажите Арви, что Билль Эндерсон хочет его видеть.

— Господи! Мало у меня, что ли, забот, а тут ещё этот негодный мальчишка пришёл меня мучить! Убирайся ты, ради бога, и оставь меня в покое! Я тебе правду говорю: мой бедный мальчик умер этой ночью от инфлюэнцы.

— Ах, чорт!

Оборванный юный повеса протяжно и тихо свистнул, посмотрел сперва в один, потом в другой конец Джонс Эли, выплюнул табачную жижу.

И сказал:

— Господи помилуй! Простите, сударья. Я не знал. Откуда мне было знать, что вы меня не обманываете?

Он вынул одну руку из кармана и поскрёб в затылке, сдвинув съехавшую на затылок шапку на самый лоб, и тут его внимание было привлечено плачевным состоянием правого башмака. Он повернул ступню ребром и скосил глаза на подошву; потом поднял ногу до левого колена, обхватил лодыжку весьма грязной рукой и стал созерцать подошву критическим взглядом, словно соображая, долго ли она ещё продержится. После этого он энергично сплюнул на мостовую и сказал:

— Можно мне посмотреть на него?

Он поднялся вслед за ней по маленькой кривой

лестнице с таким видом, как будто ему сам чорт не брат, но, войдя в комнату, снял шапку.

Он осмотрелся вокруг и, казалось, подметил все признаки бедности, столь знакомые его классу, а потом перевёл взгляд туда, где лежало на диване тело и уже стоял нищенский гроб. Он окинул гроб критическим взглядом торговца, потом посмотрел на Арви и снова на гроб, как бы прикидывая мысленно, придётся ли он по мерке.

Мать откинула покрывало, открыв белое осунувшееся личико умершего мальчика, а Билль подошёл и остановился перед диваном. Он небрежно вынул правую руку из кармана и коснулся ладонью ледяного лба Арви.

— Бедный малыш! — пробормотал себе под нос Билль.

Потом, словно устыдившись своей слабости, сказал:

— Вскрытия не было, верно?

— Не было, — ответила она. — Доктор осматривал его накануне — никакого вскрытия не было.

— Я так и думал, — сказал Билль, — потому что если делают вскрытие, у человека всегда бывает такой вид, будто ему сделали больно. Сначала у моего отца был совсем неплохой вид, как будто он отдыхает, — ну а после вскрытия похоже было на то, что ему было больно. Никто этого не заметил — только я один. Сколько лет было Арви?

— Одиннадцать.

— А мне двенадцать, тринадцатый пошёл. Отец Арви умер, верно?

— Да.

— Мой тоже. Умер на работе, правда?

— Да.

— Мой тоже. Арви мне говорил, что у его отца что-то неладное было с сердцем.

— Да.

— И у моего тоже. Вот чудно! Вы моете полы в конторах и стираете бельё, верно?

— Да.

— И моя мать тоже. Вам приходится туго, по пылешним временам нелегко заработать себе на пропитание?

— Ах, боже мой! Конечно! Богу одному известно, что я теперь буду делать, когда не стало моего бедного мальчика! Я всегда вставала в половине шестого и мыла полы в нескольких конторах, а покончив с этим делом, принималась за подённую работу, за стирку белья. И всё-таки мне нелегко сводить концы с концами.

— То же самое говорит и моя мать. Я думаю, худо вам стало, когда вашего мужа принесли домой?

— Ах, боже мой! Конечно! Этого мне не забыть до самой смерти. Мой бедный муж был несколько недель без работы, и место он получил только за два дня до смерти. Я думаю, для вашей матери это был страшный удар?

— Ну, ещё бы! Один из ребят, которые принесли отца домой, сказал моей матери: «Ваш муж умер, сударыня; вдруг ни с того, ни с сего свалился». А мать сказала: «Ах, боже мой, боже мой!» да тут же и хлопнулась.

— Вот бедняжка! А теперь и Арви моего не стало. Что я буду делать с детьми? Что мне теперь делать? Что делать? О, боже мой! Лучше б мне лежать в земле!

— Крепитесь, сударыня! — сказал Билль. — Что толку сокрушаться, когда дело сделано?

Он вытер тыльной стороной руки запачканные табачной жижей губы и с минуту созерцал в раздумьи пятна. Потом снова взглянул на Арви.

— Вам бы нужно было давать ему рыбий жир, — сказал Билль.

— Нет. Ему нужен был покой и сытная еда.

— Силёнок ему нехватало.

— Да, нехватало. Бедный мальчик.

— Я так и думал, что нехватало. Скверно с ним обращались у братьев Грайндер; не давали ему возможности чему-нибудь научиться, держали его всё время на одной и той же работе, а у него нехватало духу просить босса о повышении, боялся, как бы его не прогнали. Драться он не мог, и мальчишки его дразнили; бывало, ждали у ворот фабрики, чтобы подшутить над Арви. Попробовали бы они проделывать это со мной! А он драться не мог; ну, конечно, силёнок у него было мало. Ко мне они не пристают, я такой сильный, что гору могу сдвинуть. Но, конечно, это не вина Арви. Я думаю, храбрости бы у него хватило, были бы только силы.

И Билль с отеческой снисходительностью посмотрел на умершего.

— Боже мой! — воскликнула она. — Если б я это знала, лучше бы я согласилась умереть с голоду, но не допустила бы, чтобы моего бедного мальчика замучили там до смерти. Он никогда не жаловался. Мой бедный сынишка! Он никогда не жаловался! Бедный маленький Арви! Бедный маленький Арви!

— Он вам ничего не говорил?

— Никогда — ни слова.

— Ах, черт меня подери! Да неужели? Он не мог постоять за себя, и, может быть, ему не хотелось, чтобы вы это знали. Но это не его вина, так я полагаю. Понимаете ли, силёнок у него было мало.

Старая гравюра, висевшая над кроватью, привлекла его внимание, и он с любопытством уставился на неё критическим взглядом.

— У нас дома тоже есть такая картина. Прежде мы жили в Джонс Эли — вон там, через дорогу. Вам нравится жить в Джонс Эли?

— Совсем не нравится. Мне не нравится, что

мои дети растут в этом квартале, где столько дурных домов, но я не могу переселиться куда-нибудь в другое место и платить дороже за квартиру.

— Да, что и говорить, здесь много ночных притонов, а впрочем,— задумчиво добавил он,— вы их найдёте повсюду. Да к тому же и ребятишки становятся посмышлёнее и многому могут научиться вот в таком переулке. Никакого худа им от этого не будет. Что толку, если они вырастут несмышлёнышами, когда им придётся прокладывать себе дорогу в городе! Вы не всю жизнь жили в Сиднее?

— Нет. Мы приехали сюда из джунглей. Мой муж думал, что в городе ему легче будет пробиться. Я выросла в джунглях.

— Я так и думал. Да, мужчины бывают такими дураками. Я сам собираюсь в скором времени добыть разрешение на участок там на севере. Где его похоронят?

— В Роквуде, завтра.

— Я не могу прийти. Должен быть на работе. А похороны на счёт государства?

— Да.

Билль с сугубым уважением посмотрел на умершего.

— Не могу ли я что-нибудь для вас сделать? Да вы не бойтесь, скажите!

— Нет, ничего. Но всё-таки большое тебе спасибо.

— Ну, мне пора идти. Простите за беспокойство, сударыня.

— Никакого беспокойства, мой мальчик.. Осторожнее на этой ступеньке.

— Да, она провалилась. Как-нибудь вечером я принесу доску и почию её, если хотите. Я учусь плотничать, я уже почти что умею делать двери. А знаете что? Я вам пришлю сегодня вечером мою старуху, она поможет обрядить Арви.

— Не надо. Спасибо. У твоей матери и без того много забот и хлопот. Уж как-нибудь сама справлюсь.

— А я всё-таки пришлю её.. Она у меня грубоватая, но сердце у неё доброе, и больше всего на свете она любит обрывать покойников. Прощайте, сударыня.

— Прощай, мой мальчик.

Он остановился в дверях и сказал:

— Мне очень его жалко, сударыня. Ей-богу! Очень жалко. До свидания и благодарю вас.

У порога стоял испуганный ребёнок, глядя на Биля большими, полными слез глазами. Билль погладил его по голове и сказал:

— Выше голову, малыш!

СТИФНЕР И ДЖИМ (ТРЕТИЙ—БИЛЬ)

В ту пору мы скитались с нашими узлами — я и Билль — по Кентербери, Маюрленд, в поисках работы на новой железнодорожной линии. Однажды под вечер, после долгой ходьбы по жаре, мы добрались до отеля Стифнера — между Крайстчерчем и каким-то местечком, забыл, как оно называется, — а глотки у нас были сухие, как раскалённая кость, и табаку ни щепотки.

Нам нужно было во что бы то ни стало выпить, и мы пошли на риск. Мы ввалились прямо в бар, сдали наши узлы, заказали четыре порции и постарались напустить на себя такой вид, будто нам только что выдали наши чеки, и наплевать нам на всех. Были мы свежменны и потому казались в достаточной мере кредитоспособными. К тому же мы были грязны, измучены, оборваны, утомлены и тем больше оснований было предполагать, что чеки наши в порядке.

Этот Стифпер считался крепким орешком. Он был шулером, боксёром, священником в джунглях, проповедником воздержания от алкоголя, полисменом, коммерческим агентом и всем, что только есть предосудительного. Он был журналистом и редактором, а также адвокатом. Противно было смотреть на это животное, а ещё того хуже — затевать с ним ссору: рост примерно шесть футов, шесть дюймов, сложение дюжее, а силы больше, чем у Дональда Динни.

Скуп он был неописуемо, а хитростью превосходил крысу из сточной трубы. Он отказался бы паковать родного отца и не дал бы ему займы шестипенсовика, если бы у старика не нашлось надёжного поручителя.

Мы знали, что от Стиффера пощады не дождётся, но нужно было что-то предпринять, и так я и сказал Биллю:

— Что-то нужно предпринять, Билль. Как ты смотришь на это дело?

Билль был молодой парень из Сиднея, большей частью смирный, за исключением тех случаев, когда напивался — что бывало редко, но тогда лучше было с ним не связываться. Он помешался на шулерах. Он утверждал, что население земного шара делится на два класса: одни — шулеры, а другой — простофили. Себя он не причислял к простофилям. Сначала я считал его шулером, а потом решил, что он простофиля. Он говорил, что по нынешним временам у человека нет другого выхода; что сам он когда-то был честным и глупым, а в результате друзья и родственники ограбили его и чуть не довели до голодной смерти, но теперь он намерен брать всё, что может взять. Он утверждал, что либо ты надуешь, либо тебя надуют и что люди поневоле должны быть жуликами, и тут уж ничего не поделаешь.

Билль сказал:

— Придётся нам наточить зубы и пожевать чьё-нибудь ухо.

— Как? — спросил я.

В трактире было много землекопов, и кое-кого я знал в лицо. Вот Билль и говорит:

— Ты знаешь кое-кого из этих простаков. Кусни-ка одного из них за ухо.

Я отвёл в сторонку знакомого парня, куснул его на десять бобов и отдал их Биллю, полагая, что у него они будут в большей сохранности, чем у меня.

— Держись за них, — говорю я, — и смотри, не спусти их, если тебе дорога жизнь, а не то Стифнер вышибет из тебя дух.

В тот вчечер мы поставили выпивки примерно на девять бобов — Билль и я, а Стифнер и не пикнул, он был слишком умён. Раза два он тоже ставил угощение.

Спустя немного я оставил Билля одного и завалился спать, а утром, когда я проснулся, Билль сидел возле меня, и вид у него был такой весёлый, как у забияки кенгуру в туманный день в Лондоне. У него был фонарь под глазом и восемнадцать пенсов в кармане. Вот как он обжулил простофилю!

— Что ж теперь делать? — спросил я. — Стифнер может одной рукой прихлопнуть нас обоих, и если мы не заплатим, он оставит у себя наши узлы, а нас искалечит. Это как раз в его духе. Он терпеть не может оставаться в дураках и больше всего любит драться.

— Нам остаётся сделать только одно, Джо, — говорит Билль усталым безучастным тоном, который меня бесит.

— А что такое? — спросил я.

— Закурить!

— К чорту! — отгрызнулся я, потеряв терпение. —

Ты же знаешь, что наши узлы в баре, а раз их нет, значит, мы не можем закурить.

— Ну тогда я подброшу монету, кому из нас итти говорить с хозяином.

— Ах, будь я проклят! — говорю я. — Как бы не так! Ну и бесстыжая твоя рожа! Ты, простофиля, проиграл деньги, значит, ты и должен выручить нас из беды.

Он разозлился, услышав, что он простофиля, и мы начали переругиваться. Но мы боялись шуметь, так что дело не дошло до драки, и в конце концов я согласился подбросить монету и проиграл.

Билль вздумал было давать мне указания, но я быстро заткнул ему рот.

— У тебя был случай себя показать, и ты всё дело испортил, — сказал я. — Теперь не мешай мне. Я войду в бар, скажу, чтобы мне дали наши узлы, вынесу их на веранду, а потом вернусь расплатиться. Я ему заговорю зубы. А ты хватай оба узла и улети-чивайся, как привидение. Вот и всё, что ты должен сделать.

Я вошёл в бар, взял узлы у хозяйки, вынес их на веранду и вернулся.

Вошёл Стифшер.

— Доброе утро!

— Доброе утро, сэр, — говорит Стифшер.

— Кажется, славный будет денёк?

— Да, похоже на то. Собираетесь в дорогу?

— Да, придётся сегодня сняться с места.

Тут я небрежно облокотился на стойку и лениво посмотрел вдаль, на расчищенный участок, а потом вздохнул и сказал:

— Что ж! Выпью-ка я пива.

— Правильно! А где ваш приятель?

— Там, на заднем дворе. Сейчас придёт. Но сегодня он пить не будет.

Стифшер засмеялся этим своим гадким пустым

смешком. Он, верно, решил, что Биля мутит с перепоя.

— Выпьем, босс! — сказал я.

— Благодарю!.. За ваше здоровье!

— За ваше здоровье!

Местность здесь вокруг была открытая, до ближайшего леса больше мили, и мне хотелось, чтобы Билль успел покрыть приличное пространство до начала погони. Поэтому я завёл разговор о том о сём, а пока мы разговаривали, я подумал, что уж делать, так делать, и коли помирать, так лучше помереть за фунт, чем за пенни, а коли не помру, так фунт останется, так сказать, при мне. Во всяком случае риск не увеличится, а, пожалуй, даже уменьшится, потому что я очень разгорячусь и побегу быстрее ради более крупной ставки; в особенности, если эта ставка — горячительное. Вот я и говорю:

— Захвачу-ка я с собой вот одну из тех фляжек с виски, чтобы нам хватило на дорогу.

— Правильно, — говорит Стифнер. — Какую возьмёте — маленькую или большую?

— Да, пожалуй, большую... если влезет в карман.

— Трудно будет засунуть, — сказал он и засмеялся.

— Попробую, — сказал я. — Побьёмся об заклад: если не засуну — ставлю вам два стакана, если засуну — вы мне.

— Идёт! — говорит он. — Верхний внутренний карман куртки, да чтобы карман не разорвался.

Бутылка была большая, а все карманы у меня маленькие, но я засунул её в тот карман, какой он мне указал. Еле-еле влезла, насилу-то я её впихнул.

Тут мы оба посмеялись, но его смех был ещё противнее, чем обычно, потому что он старался быть любезным, проиграв две выпивки, а я смеялся без всякой охоты: меня беспокоила мысль, кто из нас посмеётся последним.

Вот тут-то я кое-что заметил, и меня осенила идея — такая превосходная идея, какой никогда в жизни у меня не бывало. Я заметил, что сегодня Стифнер прихрамывает на правую ногу. Я и говорю ему. — Что это у вас с ногой?

И полез в карман.

— Проклятый гвоздь в башмаке, — сказал он. — Я думал, что забил его сегодня утром, оказывается — торчит.

Случилось так, что в баре лежал мешок с сапожными инструментами, принадлежавший старому сапожнику, который валялся мертвецки пьяный на веранде. Я опять вынул руку из кармана и сказал:

— Дайте-ка сюда башмак, я всё сделаю в одну секунду. Это моё старое ремесло.

— Так вы сапожник, — сказал он. — Никогда бы я этого не подумал.

Он засмеялся своим бессмысленным смехом, который никому не нужен, стащил башмак с ноги — он был не зашнурован — и протянул мне через стойку. Это было уродливое чудовище — огромный толстый башмак землекопа, подкованный железом. Мне стало скверно, когда я посмотрел на него.

Я взял мешок и сделал вид, будто забиваю гвоздь, но я его не забил.

— А из подошвы выскочило два гвоздя, — сказал я. — Я их вобью, если найду с широкой шляпкой, тогда подошва дольше проносится.

Я покопался в мешке, нашёл прекрасный длинный гвоздь и незаметно вогнал его в самую середину подошвы. Когда-то Стифнер был бегуном, вот я и подумал, что в ближайшем будущем не останусь в пакладе, если шипы его спринтерских¹ башмаков окажутся внутри, а не снаружи.

¹ С п р и н т е р — призовой бегун-спортсмен на коротких дистанциях.

— Теперь вы останетесь довольны,— сказал я, положив башмак на стойку, но как бы по рассеянности придерживая его рукой.

Потом я зевнул, потянулся и небрежно сказал:

— Ну, какой будет счёт?

Он почесал в затылке и сделал вид, будто припоминает.

— Скажем — тридцать бобов.

Может быть, он думал, что я выложу два квида.

— Ну что ж,— говорю я,— а что вы сделаете, если мы вам не заплатим?

С минутку он постоял с глупым видом. Потом охнул, подавился слюной, а потом вдруг остыл и засмеялся самым дрянным своим смехом — он был из тех, что смеются, когда приходят в ярость,— и сказал противным, спокойным тоном:

— Ах, вы, проклятые бесстыжие вши! Да если вы (так вас и этак) не расплатитесь со мной, я заберу ваши узлы и надаю вам (так вас и этак) таких пинков в зад, что вы у меня целый месяц не сможете ни лечь, ни встать!

— Чем скорей вы начнёте, тем лучше,— сказал я, швырнул башмак в угол и пустился наутёк.

Он перепрыгнул через стойку, схватил башмак и бросился за мной. Потом приостановился, чтобы надеть башмак, но сделал только один шаг, взвыл, сорвал с ноги башмак и побежал назад. Когда я снова оглянулся, он уже успел надеть ночную туфлю, гнался за мной и... догонял. В течение следующих пяти минут я быстро перемещался в пространстве. Но скоро я выдохся. Сердце начало колотиться об макушку, а лёгкие застряли у меня в глотке. Когда я сообразил, что он подбирается на расстояние пинка, я оглянулся, чтобы во-время увильнуть. Он занёс ногу, но в последний момент я увернулся. Он дал осечку, туфля взлетела футов на двадцать в воздух и упала в яму с водой.

Его песенка была спета, потому что бежать приходилось по живью и щёбню. Впереди я увидел Биля, улепётывавшего к горизонту, пустился за ним и напруг последние силы, чтобы добраться до леса. Дело в том, что я увидел жену Стифнера, бежавшую с лопатой, должно быть, зарывать остатки. А эти двое были достойной парой — я говорю о Стифнере и его хозяйке.

Билль разок оглянулся и вскоре после этого скрылся в зарослях, а когда я его догнал, он был совсем без сил. Но я подхватил свой узел, и мы двинулись дальше, так как я сообщил Биллю, что когда я в последний раз оглянулся, Стифнер бежал к конюшням. По мнению Биля, лучше нам было поскорей заблудиться в джунглях и оттуда не выбираться, потому что Стифнер не из тех людей, которым правится оставаться в дураках.

Первое, что сказал Билль, когда мы расположились на привале, было:

— Я же тебе говорил, что мы выпутаемся. Можешь ничего не бояться, когда путешествуешь со мной. Ты только слушайся моих советов, полагайся во всём на меня, и мы не пропадем. А теперь...

Но я заткнул ему рот. Он меня взбесил.

— Ах, ты!.. Да ты-то что сделал?

— Я что сделал? — говорит он. — Я удрал с узлами, разве не так? Где бы они сейчас были, если бы не я?

Тогда я напустился на него за его фанфаронство, оплатил ему за то, что он задирает передо мной нос, и обозвал его простофилей, и отделал его, так сказать, на все корки и заявил, чтобы больше он не смел выдавать себя за боевого парня.

Потом, решив, что бросил его на обе лопатки, я остыл и лемпожко его подмаслил. Мне и в голову не приходило, что он припас для меня три удара и ещё один подложечку.

Выслушал он меня довольно спокойно; позволил мне разрядиться и дал время отдышаться. Потом лениво перевалился на правый бок, засунул левую руку в левый карман штанов и вытащил оттуда шнурок от башмака, коробку спичек и девять шиллингов шесть пенсов.

Я посмотрел и рот разинул.

— Всё время они у меня были,— сказал он.— Но там, в трактире, я увидел, что тебе представляется случай куснуть кого-нибудь за ухо. Вот я и решил приберечь эти деньги: девять шиллингов шесть пенсов на дороге не валяются.

Потом он перевалился на левый бок, полез в другой карман и выудил оттуда табак и полсоверена. У меня глаза полезли на лоб.

— Тысяча чертей! А это у тебя откуда? — варевел я.

— Это та самая монета, которую ты мне дал вчера вечером,— объяснил он.— По нынешним временам нельзя швыряться такими монетами. Вдобавок, у меня был зуб против Стифнера, и я хотел посчитаться с ним. Я рассудил, что если нехватит у нас смекалки оставить Стифнера в дураках, значит нечего нам жить на этом свете. Как бы то ни было, я полагал, что мы это сделаем, и сделали — да ещё бутылку виски получили в придачу.

Затем он с усталым видом откинулся назад, приприслонившись к бревну, обшарил верхний левый карман куртки и вытащил соверен, завернутый в фунтовый билет. Потом подождал, что скажу я. Но я ничего не мог сказать. Рот я открыл, но закрыть его уже не мог.

— Это я выиграл вчера вечером у простаков, но я подумал, что эти деньги нам пригодятся, и лучше их не тратить. По нынешним временам квиды на дороге не валяются, и деньги нужны нам больше, чем Стифнеру, а потому...

— А он знал, что у тебя есть деньги? — задыхаясь, выговорил я.

— Ну, как же, в том-то вся и штука! Вот почему он так разволновался. Он не выходил из комнаты, пока я играл. А теперь давай выпьем!

Мы выпили. Мне нужно было выпить.

Билль завалился спать и при лунном свете был похож на спящего младенца. Я засиделся до позднего часа, курил, размышлял и смотрел на Билля, а потом улёгся и опять размышлял почти до рассвета. Наконец я заснул, и мне приснился страшный сон. Мне спилось, что я сорок миль гнался за Стифнером, чтобы купить у него трактор, и что Билль оказался его племянником.

Билль честно разделил добычу и дал мне лишних полкроны, но после этого я недолго странствовал с ним. Он был порядочным малым и неплохим товарищем по сравнению с другими ребятами, но для такого миролюбивого, покладистого парня, как я, он слишком далеко шагнул. Я бы за один год износился, стараясь не отставать от него.

МИДЛТОНОВСКИЙ ПИТЕР

I

Первенец

В Австралии можно найти не только «кос-как перебивающегося фермера», но и кое-как перебивающегося скваттера. Австралийский скваттер не всегда бывает тем могущественным королём шерсти, каким он, очевидно, рисуется воображению английских и американских писателей и других неосведомлённых

людей. Овцеводство, при наилучших условиях — дело случая. Зависит оно главным образом от погоды, а погода — по крайней мере в Нью Саут Уэлсе — ни от чего не зависит.

Джо Мидлтон был кое-как перебивающимся скваттером, а станция его находилась на некотором расстоянии к западу от самой дальней границы, до которой добирались обычные новосёлы. В пору нашего повествования его пастбище занимало всего около шести квадратных миль, и поголовье скота было соответственно ограничено. Рабочая сила на пастбище Джо состояла из его брата Дэва, из пожилого человека, известного просто, как «Мидлтоновский Питер» (который состоял на службе у семьи Мидлтонов с тех пор, как Джо Мидлтон начал себя помнить) и старого чернокожего пастуха¹ с его джиш¹ и двумя сыновьями.

Дело было в первый год после женитьбы Джо. Женился он на самой обыкновенной девушке, ничем не выделявшейся среди австралийских девушек, но в его глазах она была ангелом. Он буквально боготворил её.

Однажды, в знойный день в средние лета все работники станции, за исключением Дэва Мидлтона, собрались у двери дома, и, судя по их торжественным лицам, было ясно, что происходит нечто необычайное. Они как будто высматривали кого-то или что-то на равшше, а старый чернокожий пастух, который, склонив голову, напряжённо прислушивался, вдруг выпрямился и воскликнул:

— Я слышу двуколку! Я её слышу!

Вы должны не упускать из виду, что наши чернокожие не всегда говорят на том тарабарском языке, каким их наделяют сочинители повестей.

Прошло некоторое время после того, как Чёр-

¹ Д ж и ш — австралийская негрятка.

ный Билль произнёс эти слова, прежде чем белые — или, вернее, коричневые — члены компании могли взглянуть экипаж или хотя бы услышать его приближение. Наконец, вдалеке, меж стволами туземных яблонь показалась двуколка, и по мере её приближения стало очевидно, что она летит с головокружительной быстротой, что лошади мчатся галопом, а движущиеся двуколки, перепрыгивающей то одним, то другим колесом через корень или колею, поразительно напоминает шотландский танец. В двуколке сидели двое. Это были матушка Памер, дородная пожилая женщина (которая иной раз исполняла обязанности повивальной бабки) и брат Джо — Дэв Мидлтон.

Двуколка подкатила к самой двери, почти не замедляя хода, и остановилась столь внезапно, что миссис Памер вылетела из неё и распласталась на крупе лошади. Ей тотчас помогли слезть, и, едва успев отдышаться, она последовала за Чёрной Мери в спальню, где лежала молодая миссис Мидлтон, очень бледная и испуганная. Лошадь, которую гнали так жестоко, ещё тяжело дышала, когда появилась вторая двуколка, также летевшая очень быстро. В ней ехали старые мистер и миссис Мидлтон, которые жили комфортабельно на маленькой ферме неподалеку от участка Памер.

Вывалив миссис Памер, Дэв Мидлтон вылез из двуколки и, вскочив на свежую лошадь, которая стояла осёдланная во дворе, поскакал галопом сквозь заросли уже в другую сторону.

Полчаса спустя вернулся домой Джо Мидлтон на загнанной лошади, находившейся чуть ли не при последнем издыхании. Его мать, заслышав топот, вышла, и он тревожно спросил её:

— Ну, как она?

— Ты нашёл доктора Уайльда? — спросила мать.

— Нет, будь он проклят! — злобно крикнул

Джо.— Обещал мне приехать в среду и пробыть у нас, пока Мегги не окрепнет. А теперь он уехал от Дши и отправился... бог весть куда. Верно, опять запил. Как Мегги?

— Все кончено — ребёнок родился. Мальчик. Но она очень слаба. Дэв привёз миссис Памер в самую последнюю минуту. Лучше уж я сразу тебе скажу: миссис Памер говорит, что если мы сегодня не доставим доктора, бедная Мегги не выживет.

— Боже мой! Что же мне делать? — в отчаянии воскликнул Джо.

— Нет ли по близости какого-нибудь другого доктора?

— Нет; есть только один в Б., отсюда сорок миль, да он лежит со сломанной ногой после несчастного случая с повозкой. Где Дэв?

— Поехал к хижине Блейка. Один из сыновей миссис Памер припомнил, что кто-то ему говорил, будто доктор Уайльд был там на прошлой неделе. Это пятнадцать миль отсюда.

— Но это наша единственная надежда, — уныло сказал Джо. — Как я жалею, что ещё месяц назад не увёз отсюда Мегги в какое-нибудь цивилизованное место!

Доктор Уайльд был хорошо известен обитателям джунглей Нью Саут Уэлса, и хотя профессионалы не признавали его и обличали, как эмпирика, его мастерство не подлежало сомнению. Местные жители в него верили и готовы были проехать невероятное количество миль, чтобы только привезти его к постели больного друга. Он люто пил, но редко утрачивал способность лечить пациента. Впрочем, иной раз он бывал несговорчив и отказывался ехать к одру больного, а тогда сам черт не заставил бы доктора сдвинуться с места. Но, несмотря на это, он был очень великодушен — этот факт могли бы засвидетельствовать многие благодарные обитатели джунглей.

Единственная надежда

Настал вечер, и попрежнему не было никакой перемены в положении молодой жены, а доктора не было ни в помине. Прослышав о том, что происходит у Джо Мидлтона, с окрестных станций приехали несколько пастухов и помчались галопом в дальний и безнадежный путь искать доктора. Редко подвергаясь заболеваниям, эти жители джунглей смотрят на болезнь, даже в самой легкой её форме, как на дело серьезное, а к тому же их сочувствие, когда только это возможно, принимает характер практический. Однажды Джо Мидлтон, пустившийся в погоню за кем-то, объявленным вне закона, был сброшен с седла, и даже для джунглей надо признать из ряда вон выходящей ту стремительную скачку, какую по этому случаю затеяли, начиная с того момента, когда лошадь вернулась без всадника, и вплоть до того, как всадника уложили в постель и привезли к нему доктора.

Ещё рано было ждать возвращения Дэва Мидлтона, а уже все обитатели станции тревожно высматривали его — все, кроме старого негра и его двух сыновей, которые пошли загонять овец.

К компании присоединился Джимми Наулет, погонщик волов, который только что привёз Мидлтону проволоку для изгороди и провизию. Джимми стоял в лунном свете, с кнутом в руке, не менее встревоженный, чем сам супруг, и старался точно рассчитать в уме, сколько времени понадобится Дэву, чтобы совершить путь туда и обратно, принимая в соображение расстояние, задержки в пути и свойства лошади.

Но прошёл час, назначенный Джимми для прибытия Дэва, а того всё не было.

Старый Питер (так называли его обычно, хотя он был не очень стар) стоял в сторонке со свойственным ему угрюмым видом, надвинув шапку на глаза так, что видна была только густая и горизонтально торчавшая чёрная борода, из зарослей которой вырывался большими клубами очень крепкий табачный дым — продукт короткой, чёрной глиняной трубки.

Они потеряли почти всякую надежду увидеть в тот вечер Дэва, когда Питер медленно и осторожно вынул изо рта трубку, и буркнул:

— Едет.

Затем он снова сунул в рот трубку и продолжал курить.

Все прислушались, но никто не услышал ни звука.

— Видно, слух у тебя, Питер, очень чуткий для твоих лет. Мы его не слышим,— заметил Джимми Наулет.

— Его собака слышит,— сказал Питер.

Снова он вынул изо рта трубку и указал коротким стволом на овчарку Дэва, которая стояла у своей конуры и, наострив уши, нетерпеливо смотрела в ту сторону, откуда ждали появления её хозяина.

Вскоре все отчётливо услышали топот копыт.

— Я слышу двух лошадей,— возбуждённо крикнул Джимми Наулет.

— Только одна лошадь,— спокойно сказал старый Питер.

Прошло несколько секунд, и в дальнем конце равнины показался одинокий всадник.

— Это доктор Уайльд на лошади Дэва,— воскликнул Джимми Наулет.— Дэв не так сидит в седле.

— Это Дэв,— сказал Питер, снова сунув в рот трубку и принимая ещё более несообщительный вид.

Подъехал Дэв, устало слез с седла и в злобном молчании остановился подле своей лошади.

— Его там нет?—спросил, наконец, Джимми Нулет, обращаясь к Дэву.

— Он там,— нетерпеливо ответил Дэв.

Такого ответа они не ожидали, но, казалось, никто не удивился.

— Пьян? — спросил Джимми.

— Да.

Тут старый Питер вынул изо рта трубку и проронил одно единственное слово:

— Как?

— Какого чорта ты хочешь этим сказать? — проворчал Дэв, чьё терпение, повидимому, подверг жестоким испытаниям искусный, но невоздержанный туземный доктор.

— Как пьян? — с великим хладнокровием пояснил Питер.

— Пьян, как стелька, вдрызг пьян, зверски пьян, мертвецки пьян, пьян на славу, если уж тебе так хочется знать!

— Что сказал доктор? — осведомился Джимми.

— Сказал, что болен — невралгические боли в пояснице — не поехал бы к самой английской королеве. Сказал, что ему нужно пройти курс лечения. Будь он проклят! Терпения моего нехватает говорить о нём!

— Я бы ему задал курс лечения! — свирепо буркнул Джимми, воюча по траве конец своего длинного кнута и злобно сплёвывая на землю.

Дэв отвернулся и присоединился к Джо, который стоял у кухонной двери и с жаром толковал о чём-то с матерью. Он рассказал им, что битый час уговаривал доктора Уайльда поехать с ним, а когда уходил из хижины, взял слово с Блейка, что он привезёт доктора, как только у того рассеется его упрямое настроение.

В эту минуту из комнаты, где лежала больная, донёсся тихий стон, а затем раздался голос миссис Памер, звавшей старую миссис Миддлтон, которая поспешила в дом.

Никто не заметил исчезновения Питера, а когда он вскоре пришёл со скотного двора, ведя единственную свежую лошадь, которая ещё оставалась, Джимми Наулет начал с любопытством к нему присматриваться. Питер перенёс седло с лошади Дэва на свою, а затем пошёл в комнатушку при кухне, служившую ему спальней; оттуда он вскоре вернулся с устрашающего вида револьвером, камеру которого осмотрел при лунном свете на глазах у всех присутствующих. Был момент, когда они подумали, что он рехнулся. Старый Миддлтон потихоньку юркнул за спину Наулета, а Чёрная Мери, которая вышла во двор, чтобы зачерпнуть воды из стоявшей в углу кадки, уронила ковш и в одно мгновение очутилась в доме. В эту минуту подошёл один из чернюкожих мальчиков; как только зоркие его глаза «опознали» оружие, он исчез, словно земля его поглотила.

— Какого чорта ты задумал, Питер? — спросил Джимми.

— Хочу его привезти, — сказал Питер и, старательно выколотив трубку и спрятав её в кожаный кисет, висевший у пояса, сел на лошадь и ускакал лёгким галопом.

Джимми следил за лошадыю, пока она не скрылась в конце равнины, потом, свернув кольцом свою длинную плеть для волов так, что она стала походить на спящую змею, он воткнул в середину кольца, лежавшего в пыли, конец длинного соснового кнутовища, словно вбил гвоздь, и сказал тоном глубокого убеждения:

— Он его привезёт.

Доктор Уайльд

Питер постепенно ускорял бег лошади по неровной тропе, проложенной в джунглях, пока не развил большой скорости. До главной просеки дороги было десять миль, да потом ещё пять до хижины Блейка.

Было очень душно и знойно ещё тогда, когда Питер не трогался в путь. На востоке выполз широкий чёрный край грозовой тучи, и всё указывало на приближение грозы. Она не заставила себя ждать. Питер не проехал и шести миль, как надвинулись тучи, заслонив луну, и разразилась австралийская гроза с её страшным ливнем, с её ослепительными молниями и сотрясающими землю раскатами грома. Питер невозмутимо продолжал путь, лишь изредка приостанавливаясь, пока молния осветит тропу впереди.

Хижина Блейка, или, как гласила вывеска, «Почтовая контора и универсальная лавка», находилась, как мы уже сказали, на главной дороге, в пяти милях от того места, где в неё вливалась милтоновская тропа. Построена она была в обычном архитектурном стиле джунглей. Примерно на двести ярдов ближе к речке, которая пересекала дорогу впереди, стояли большие конопки из древесной коры и горбылей, достаточно поместительные, чтобы удовлетворить требования признанной в джунглях «публики».

Читатель, пожалуй, усомнится, чтобы на главной правительственной дороге, по которой постоянно проезжали конные стражники, могла открыто существовать лавка, торгующая без разрешения грогом. Но, видите ли, конные стражники чувствуют жажду, как и все прочие люди; больше того — в таких местах

они всегда могут утолить жажду gratis. Поэтому читатель не удивится, услышав, что в эту самую ночь две лошади стражников уютно расположились в копошне, а два стражника уютно расположились в задней комнате хижины, чтобы отоспаться после дешёвой, но крепкой выпивки.

К копошне было пристроено нечто вроде двух комнат — по одной с краю. Одну занимал человек, «пригодный для всякой работы», а другая служила доктору Уайльду аптекой, кабинетом и спальней.

Доктор Уайльд был человек рослый, сухопарый. У него было мертвенно бледное лицо, чёрные волосы, косматые чёрные брови, орлиный нос и орлиные глаза. В период запоя он никогда не спал. В ту ночь он сидел перед огнём, на низком трёхногом табурете. Колени его были подтянуты вверх, пальцы ног зацепились, как крючья, за передние ножки табурета, на одном колене лежала одна рука, на другое опирался локоть (той руки, которая подпирала подбородок). Он пристально смотрел в огонь, на котором кипело что-то в старой чёрной кастрюле, распространяя острый запах трав. Нечто таинственное было в докторе, когда красный отсвет огня падал на его ястребиное лицо и мерцающие глаза. Его можно было принять за Мефистофеля, варившего адское зелье.

Так просидел он довольно долго, не двинув пальцем, как вдруг дверь распахнулась и вошёл милдтоновский Питер, промокший насковозь. Доктор поднял на незваного гостя (который смотрел на него молча) свои чёрные сверлящие глаза, а затем спросил негромко:

— Какого чорта вам пужию?

— Мне пужны вы,— ответил Питер.

— А зачем я вам пужен?

— Мне пужно, чтобы вы поехали к жене Джо Мидлтона. Ей плохо,— спокойно сказал Питер.

— Не поеду! — рявкнул доктор.— Довольно уже конокрадов появилось на свет с моей помощью. Если ещё кто-то желает появиться, пусть убирается в пекло. А теперь проваливайте отсюда!

— Нечего вам закусывать удила,— невозмутимо сказал Питер — Начать с того, что конокрад уже появился на свет и чуть было не убил свою мать, и если вы не возьмете вашего ящика с лекарствами и не поедете со мной, то, клянусь всемогущим богом, я...

Тут был извлечён револьвер и направлен в голову доктора Уайльда. Вид оружия подействовал на доктора отрезвляюще. Он встал, критически посмотрел на Питера, вышиб у него из руки револьвер и сказал медленно и рассудительно:

— Ну что ж, если дело так серьёзно, пожалуй (ик!), лучше мне поехать.

Питер был того же мнения, и доктор Уайльд начал укладывать свою медицинскую шкатулку. Впоследствии он объяснял, в минуты благожелательного расположения духа, что оружие не столько испугало его, сколько расшевелило память — «напомнило ему о прошедших днях в Калифорнии и заставило призадуматься о том, каким бы он мог стать человеком,— говаривал он,— задело его за сердце и мгновенно развернуло перед ним проклятую старую панораму; заставило припомнить тот день, когда он всадил три свищовых пилюли в «Синюю рубаху» за то, что тот подмигнул за его (доктора) спиной новому поселенцу, когда доктор повествовал об истинном происшествии, и он, доктор, взял с упомянутой «Синей рубахи» сотню долларов за извлечение упомянутых пилюль.

Жена Джо Мидлтона теперь уже бабушка.

Пинтер умер так, как умирают люди этой породы: его нашли мёртвым в постели.

Бедный доктор Уайльд умер в хижине пастуха у Сухих Речек. В нестерпимо знойный день пастухи (белые) нашли его «голого, как мать родила, и шкура на нём обгорела на солнце»,— он голялся за воображаемыми змеями по пыльной просеке. В течение трех дней хозяин хижины посмотрелся на «чудные вещи», происходившие с доктором и в последующие годы повествовал о них между двумя затяжками спокойю, торжественно и так, как будто они делали честь доктору. Пастухи послали за полицией, за доктором и дали знать Джо Мидлтону. Перед смертью доктор Уайльд был в сознании. Характерным было его свидание с другим доктором. «А теперь, когда вы видите, как далеко зашло со мной дело,— заметил он в заключение,— скажите, вы привезли бренди?»

Другой доктор привёз бренди.

Джо Мидлтон приехал в своём шарабане, и в нём лежали самый мягкий тюфяк и подушки, какие нашлись на станции. Привёз он также, в простоте душевной, дюжину бутылок содовой воды. Доктор Уайльд слабой рукой взял руку Джо, а немного позднее «отошёл» (как выразился бы он сам), бормоча «что-то звучащее, как стихи» на неведомом языке. Джо отвёз тело к себе на станцию.

— Кого это везёт босс? — спрашивали стригачи, видя, что шарабан приближается очень медленно, а босс шагает рядом с лошадьми.

— Доктора Уайльда,— сказал один из работников.— Снимите шапки!

Его похоронили с почестями, принятыми в джунглях, и вырезали его имя на горбыле эвкалипта — дерево это долговечное.

Это место всё ещё называлось Золотым оврагом, но золотым оно было только по имени, а впрочем, жёлтые кучи оставшейся после промывки земли и цветы австралийской акации на склоне холма, быть может, давали ему право на такое наименование. Но золото ушло из оврага, ушли и золотонскатели по примеру друзей Тимона¹, когда тот лишился своего богатства. Золотой овраг был мрачным местом, мрачным даже для покинутого золотонского участка. Кажется, бедная, истерзанная земля с её обнажёнными ранами обращается к обступившим её джунглям с немым призывом подойти и укрыть её, и, словно в ответ на призыв, кусты и молодые деревья всё ближе подступали к ней от подножья горной цепи. Глухие заросли требовали назад свою собственность.

Два тёмных, хмурых холма по обеим сторонам оврага одеты были сверху донизу тёмным кустарником и сухопарыми буксовыми деревьями, но над самыми верхними шахтами тянулся по склону ряд акаций в цвету.

Вершина западного холма смахивала на седло, и на том месте, которое соответствовало луке седла, поднимались над эвкалиптами три высоких сосны. На эти одинокие деревья, видимые за много миль, падали жёлтые лучи заходящего солнца задолго до той поры, когда белый человек перевалил через горную цепь.

Основным мотивом пейзажа было мучительное чувство прислушиваясь, казалось, никогда не терявшее своей напряжённости, словно всё здесь прислушивалось к звукам жизни золотонскателей, к звукам, ушедшим и оставившим за собой пустоту, которую

¹ Тимон — герой трагедии Шекспира «Тимон Афинский».

подчёркивали следы прежней жизни. Основная армия золотонкателей схлынула к новым золотосным участкам, бросив позади отставших и дезертиров. Это были люди слишком бедные, чтобы перетаскивать свои семьи, люди старые и слабые и люди, потерявшие веру в счастье. Никем незамеченные, они выпали из рядов и остались среди покинутых завалов наскрёбывать себе на жизнь. Маленькое население Золотого оврага состояло из фоссикеров, живших на расчищенной равнине, которая по одну сторону оврага называлась Низина Спенсера, а по другую — Низина Кирки, но они не оживляли местности, они вели призрачное существование. Постороннему человеку эти места могли показаться безлюдными, пока не наткнулся бы он на куртку и котелок в тени деревьев среди вырытых ям и не услышал бы стука кирки в неглубокой шахте, возвещавшего о том, что какой-то фоссикер там, внизу, выкапывает жалкие остатки золотосной земли.

Однажды, незадолго до святок, над старой, довольно глубокой шахтой на дне оврага была водружена лебёдка. Утром у входа в шахту лежала бадья, привязанная верёвкой к лебёдке, а рядом с ней на чисто выметенном местечке возвышался холмик холодной, мокрой золотосной земли.

Росшие поблизости деревца бросали тень на земляной холмик, и здесь в тени сидел на старой куртке мальчуган лет двенадцати и что-то писал на грифельной доске.

У него были светлые волосы, голубые глаза и худенькое старообразное лицо — лицо, которое останется почти таким же, когда он будет взрослым. Костюм его состоял из молескиновых штанов, бумажной рубахи и оборванных подтяжек. Доску он держал крепко, вдавливая её углом себе в рёбра; голова его так низко свесилась набок, что растрёпанные волосы почти касались доски. Он старательно спи-

сывал верхнюю строку, каждый раз меняя орфографию. Повидимому, немалую помощь в этой трудной работе оказывал ему язык, высупившийся из уголка рта и производивший кругообразные движения, после которых оставался на лице чистенький кружок. Покрытые глиной пальцы на ногах также принимали участие в его усилиях и способствовали успеху, энергично сгибаясь и разгибаясь. Иногда он прерывал работу, чтобы вытереть губы тыльной стороной маленькой смуглой руки.

Островок Мэсон, или «Товарищ отца», как его прозвали, был любимцем золотоискателей и фосфикеров ещё с той поры, когда имел обыкновенно удирать по утрам из дому, чтобы пробежаться в одной рубашонке по ледяной равнине. Долговязый Боб Саукинс частенько рассказывал о том, как Островок вернулся однажды утром домой голый, в чём мать родила, после своего пробега по высокой росистой траве и объявил, что потерял свою рубашку.

Впоследствии, когда ушли все золотоискатели, а мать Островка умерла, Островок часто появлялся с голыми руками и босой, с киркой, лопатой и тазом для промывки, диаметр которого равнялся двум третям его роста, и занимался «разведкой» и «раскопками» среди старых холмиков золотоносной земли. Долговязый Боб был закадычным другом Островка, он не жалел трудов, чтобы отыскать для него золотоносные местечки, смущённо оправдывая свои долгие беседы с ребёнком тем, что «занятно бывает расшевелить мальчугана».

Островок сидел и писал, когда из шахты донёсся низкий голос:

- Островок!
- Здесь, отец!
- Спускай бадью.
- Ладно.

Островок отложил грифельную доску и, подой-

дя к шахте, опустил бадью, насколько хватило верёвки: потом, положив обе руки на вал лебёдки — одну сверху, другую снизу, — он стал поворачивать вал, пока бадья не коснулась дна. Вскоре раздалось:

— Наматывай, сынок!

— Мало навалил, — сказал мальчик, посмотрев вниз. — Не бойся, наваливай, отец! Я могу вытащить куда больше.

Слова скребущие звуки, а мальчик шире расставил ноги, чтобы обрести устойчивость, — он стоял на кучке глины, которую сгрёб у лебёдки, чтобы малый рост не служил ему помехой.

— Тащи, Островок!

Островок медленно, но усердно наваливал верёвку, и вскоре показалась на поверхности бадья. Он втащил её короткими рывками и ссыпал землю в кучу золотопосного песка.

— Островок! — снова крикнул отец.

— Что, отец?

— Ты ещё не кончил письменного урока?

— Кончаю.

— В следующий раз спусти доску за арифметическими задачами.

— Ладно.

Мальчик вернулся на своё место, вдавил угол доски себе в рёбра, сгорбился и снова начал писать вкривь и вкось.

Тома Мэсона знали в этих краях как молчаливого и неусыпного труженика. Это был человек лет шестидесяти, рослый и темнобородый. Ничего примечательного в его лице не было, разве что оно казалось жёстким, каким становится лицо человека, чьим уделом были разочарования и несчастья. Он жил в маленькой хижине на дальнем конце Низины Кирки. Лет шесть назад там умерла его жена, и хотя с той поры люди уходили на новые золотоносные участ-

ки и у него была такая же возможность, но он не покинул Золотого оврага.

Мэсон стоял на коленях перед «прослойкой»¹ и копал при свете сальной свечи, воткнутой в боковую стенку. На дне забоя было очень мокро, от воды и глины штаны его стали холодными и тяжёлыми, но старый золотоискатель привык к этому. Однако сегодня его кирка работала вяло, он казался рассеянным и нигде прерывал работу, а мысли его витали далеко от этой тонкой прослойки золотоносной земли.

Он выкапывал картины из прошлой жизни. Нерадостные это были картины, и при тусклом свете свечи лицо его казалось окаменевшим.

Туд, туд, туд... удары падали неравномерно, когда мысли фосснера блуждали в прошлом. Стенки забоя как будто медленно расплывались, а «прослойка» отступила далеко за горизонт, окутанный знойной дымкой Южного океана. Он стоял на палубе судна, а рядом с ним стоял его брат. Они плыли на юг в Страну Обетованную, которая сияла в золотом своём ореоле! Бодрящий ветер надувал паруса, и клипер летел вперед с грузом самых безумных мечтателей, когда-либо ютившихся в недрах корабля. Вверх — на длинные, сильные океанские края, вниз — в длинные, сильные океанские ущелья, вперед — к землям, таким новым и в то же время таким старым, где, затмевая раскалённые солнцем южные небеса, сверкают ослепительные имена: Балларат!.. Бендиго!²

¹ Прослойка — пласт в породе, состоящий из ценной руды или ценного минерала, например, угля; в данном случае жила, из которой намыывают золото.

² Балларат — город в провинции Виктория в ста милях к северо-западу от Мельбурна, и Бендиго — город в той же провинции, находятся в тех районах, где в 1851 году открыты были богатые месторождения золота; это открытие вызвало в Австралии «золотую лихорадку» и привлекло отовсюду десятки тысяч иммигрантов.

Палуба словно накренилась, и фоссикер качнулся вперёд, ударившись о «прослойку». От толчка он очнулся и опять взялся за свою кирку.

Но снова замедляются удары, когда перед ним возникает новое видение.

Теперь это Балларат. Он работает на золотоносном участке в Эврике, рядом с ним его брат. У брата лицо бледное и больное, потому что он всю ночь ташцовал и пьянствовал. Позади тянется гряда голубых холмов; впереди знаменитый Бекерн Хилл, а внизу налево покинутый Золотой Пик. Два конных стражника въезжают на Спесимен Хилл. Что им нужно?

Они уводят брата в наручниках. Прошлой ночью был убит человек. Убит из ревности в пьяной драке.

Виденье снова исчезает. Туд, туд, туд, стучит кирка, она отсчитывает годы — один, два, три, четыре, до двадцати, и тогда открывается новая картина: ферма на берегу весёлой реки в Нью Саут Уэлсе. Маленькая усадьба окружена виноградищем и фруктовыми деревьями. Рои пчёл трудятся в тени деревьев, а на склоне холма созревает пшеница.

Мужчина и мальчик расчищают внизу перед усадьбой участок для загона. Это отец и сын; сын, мальчик лет семнадцати, — вылитый портрет отца.

Снова топот копыт! Приближается Немезида в мундире конных стражников.

Прошлой ночью в пяти милях отсюда произошло нападение на почту, и оказавший сопротивление пассажир был убит. Сын всю ночь «охотился с приятелями на опоссумов».

Стражники уводят сына в наручниках: «Вооружённый грабёж».

Отец выкорчёвывал пень, когда явились стражники. Его нога ещё упирается в вступ, до половины вошедший в землю. Он смотрит, как стражники ве-

дут мальчика к дому, а потом, глубоко вогнав заступ, выворачивает ком земли. Стражники подходят к двери дома, но попрежнему он усердно копает и словно не слышит отчаянного вопля жены. Стражники обыскивают комнату мальчика и выносят два узла с какой-то одеждой; но отец продолжает копать. Затем стражники седлают одну из находившихся на ферме лошадей и усаживают на неё мальчика. Отец копает землю. Они едут мимо гряды холмов, мальчик посредине. Отец не поднимает глаз; яма вокруг пня расширяется. Он копает, пока не подходит к нему мужественная маленькая жена и не уводит его потихоньку за руку. Он почти очнулся и идёт за ней к дому, как послушный пёс.

За этим следует суд и позор, а потом другие несчастья: плеврит и пневмония у рогатого скота, засуха и бедность.

Снова туд, туд, туд! Но это не кирка фоссикера — это падают комья земли на гроб его жены.

Маленькое кладбище в джунглях, а он стоит окаменевший и смотрит, как засыпают её могилу. Её сердце было разбито, и умерла она от стыда.

— Я не вынесу позора! Я не вынесу позора! — стонала она все эти шесть томительных лет, ибо бедняки часто бывают гордыми.

Но *он* продолжает жить — много нужно для того, чтобы разбилось сердце мужчины. Он высоко держит голову и трудится ради оставшегося ребёнка, а этот ребёнок — Островок.

И теперь перед фоссикером как будто возникает видение будущего. Где-то стоит он, старый, старый человек, и рядом с ним — молодой; у молодого лицо Островка. Снова топот копыт! О, боже! Снова Немезида в мундире кошых стражников!

Фоссикер падает на колени в грязь и глину на дне забоя и молит небо призвать его последнего ребёнка раньше, чем явится за ним Немезида.

Долговязого Боба Саукниса знали на принсеках, как «Боба-Дьявола». В профиль его лицо, по крайней мере с одной стороны, и в самом деле напоминало саркастического Мефистофеля; но в другой половине лица, как и в подлинной его природе, не было ничего дьявольского. Его физиономия была сильно обезображена, и он лишился одного глаза в результате взрыва в каком-то старом балларатском руднике. Пустую орбиту закрывал зелёный пластырь, придававший сардоническое выражение уцелевшим чертам лица.

Это был тупой, грузный, добродушный англичанин. Он слегка занкался и имел странную привычку вставлять в свою речь словечко «ну» с единственной целью заполнить паузы, вызвавшие его занканьем. Впрочем, это мало помогало ему, потому что он частенько спотыкался и на этом «ну».

Солнце стояло низко над горизонтом, и жёлтые его лучи протянулись высоко к деревьям Золотого оврага, когда появился Боб, спускавшийся по тропинке, которая пробегала у подножья западного холма. На нём был обычный костюм: бумажная рубашка, молескиновые штаны, выцветшая шляпа, куртка и блохеровские¹ башмаки. На плече он нес кирку, рукоять которой была пропущена в ручку, короткой лопаты, висевшей у него за спиной, а подмышкой он держал большой таз. Он остановился против шахты с лебёдкой и обратился к мальчику со словами, служившими обычной формой приветствия:

— Эй, ты, послушай, Островок!

— В чём дело, Боб?

— Я видел там в зарослях, молодую... ну... со-року, ты бы её поймал.

— Не могу отойти от шахты, там отец.

¹ Высокие башмаки со шнуровкой.

— Откуда твой отец узнал... ну... что там есть... ну... земля, годная для промывки?

— Встретил старого Корни в городе в субботу, и тот сказал, что там ещё осталось достаточно и стоит потрудиться. Я вытаскивал бадью всё утро.

Боб подошёл, с грохотом бросил на землю свои орудия и, подтянув молескиновые штаны, присел на корточки, поджав одну ногу.

— Что ты делаешь на этой... ну... на доске, Островок? — спросил он, вытащив старую глиняную трубку и раскуривая её.

— Задачи, — ответил Островок.

Боб попыхивал трубкой.

— А... зачем? — сказал он, усевшись на глину. — Образование — вещь... ну... постоящая.

— Вы только послушайте его! — воскликнул мальчик. — По-твоему выходит, что незачем учиться чтению, письму и арифметике?

— Островок!

— Иду, отец!

Мальчик подошёл к лебёдке и спустил бадью. Боб вызвался помочь ему павыливать, но Островок, радуясь возможности похвастаться перед другом своей силой, настаивал на том, что будет наматывать один.

— Со временем ты будешь... ну... сильным человеком, Островок, — сказал Боб, поставив бадью на землю.

— Я мог бы вытащить куда больше, чем насыпает отец. Смотри, я смазал рукоять. Теперь идёт как по маслу.

И в доказательство своих слов он дёрнул за рукоять и предоставил ей вертеться.

— Почему тебя прозвали Островком? — осведомился Боб, когда они вернулись на своё место. — Разве это твоё... ну... настоящее имя?

— Нет, меня зовут Гарри. Один золотонскатель говорил, что я для отца с матерью всё равно, что

остров в океане, и меня прозвали Островом, а потом Островком.

— Когда-то у тебя был... ну... брат, верно?

— Да, но меня тогда ещё на свете не было. Он умер; мать говорила, что она не знает, может, он и умер, а отец говорит, что для него всё равно что умер.

— И у твоего отца был брат. Ты когда-нибудь... ну... слышал о нём?

— Да, слышал один раз, когда отец говорил о нём с матерью. Кажется, брат отца ввязался в какую-то драку в трактире, и там убили человека.

— А твой... ну... отец... ну... любил его?

— Я слышал, как отец говорил, что любил прежде, но что всё это прошло.

Боб молча курил и, казалось, следил за тёмными облаками, которые проносились на западе, похожие на похоронную процессию. Потом он произнёс вполголоса что-то, прозвучавшее как: «Всё... ну... всё прошло».

— А? — спросил Островок.

— Это я... ну, ну... так, ничего,— ощутившись, ответил Боб.— Что там торчит из кармана отцовской куртки, Островок, не газета ли?

— Да,— сказал мальчик, вытаскивая газету.

Боб взял её и с минуту всматривался в неё внимательно.

— Тут что-то написано о новых золотых приисках,— сказал Боб, тыча пальцем в рекламу портного — Ты бы... ну... прочитал мне, Островок, я ничего не вижу, нынче печатают таким мелким шрифтом.

— Нет, это не то,— сказал мальчик, взяв газету,— это...

— Островок!

— Подожди, Боб, отец зовёт.

Мальчик побежал к шахте, упёрся ладонями

и лбом в вал лебёдки и нагнулся, чтобы расслышать слова отца.

Совершенно неожиданно предательский вал повернулся; маленькое тело раза два ударилось о стенки шахты и упало к ногам Мэсона, где осталось лежать неподвижно.

— Мэсон!

— Что?

— Положи его в бадью и привяжи своим поясом к верёвке!

Прошло несколько секунд, потом:

— Тащи, Боб!

Дрожащие руки Боба с трудом сжимали рукоять, но всё-таки ему удалось намотать верёвку.

Показалось тело мальчика, неподвижное, покрытое жидкой глиной. Мэсон поднимался по ступенькам в стенке шахты.

Боб осторожно отвязал мальчика и положил его на траву под деревцами. Потом он стёр глину и кровь со лба ребёнка и плеснул на него грязной водой.

Вскоре у Островка вырвался вздох, и он открыл глаза.

— Ты сильно... ну... расшибся, Островок? — спросил Боб.

— Спи... спина сломана, Боб!

— Дело не так плохо, дружище.

— Где отец?

— Поднимается.

Молчание, а потом:

— Отец, отец! Скорей, отец!

Мэсон выбрался на поверхность, подошёл и опустился на колени по другую сторону мальчика.

— Я... я... сбегая... ну... за бренди,— предложил Боб.

— Не стоит, Боб,— сказал Островок.— У меня всё переломано.

— Тебе не лучше, сынок?

— Нет... я... сейчас... умру, Боб!

— Не надо так говорить, Островок,— простонал Боб.

Короткое молчание, потом тело мальчика внезапно скорчилось от боли. Но это скоро прошло. Он лежал неподвижно, потом спокойно сказал:

— Прощай, Боб!

Боб тщетно пытался заговорить.

— Островок! — сказал он...

Мальчик повернулся и простёр руки к безмолвной фигуре с каменным лицом.

— Отец... отец... я кончаюсь!

Прерывистый стон вырвался у Мэсона. Потом всё стихло.

Боб снял шапку, чтобы вытереть лоб, и его лицо, хотя и обезображенное, странно походило на окаменевшее лицо отца.

С минуту они смотрели друг на друга, разделённые телом мальчика, потом Боб тихо сказал:

— Он так и не узнал.

— Не всё ли равно?— прошептал Мэсон и, подняв мертвого ребёнка, пошёл к хижине.

Очень печальная маленькая компания собралась на следующий день перед хижинкой Мэсона. Жена Мартина провела здесь утро, приводя всё в порядок и помогая по мере сил. Одна из женщин разорвала для савана единственную белую рубашку своего мужа, и благодаря их стараниям мальчик лежал чистенький и даже красивый в жалкой маленькой хижине.

Один за другим фоссикеры снимали шапки и, согнувшись, входили в низкую дверь. Мэсон молча сидел в ногах койки, подперев голову рукой, и странным рассеянным взглядом следил за ними.

Боб перевернул вверх дном весь лагерь в поисках досок для гроба.

— Это — последнее, что я ещё могу... ну... сделать для него,— сказал он.

Наконец, отчаявшись, он обратился к миссис Мартин. Эта леди повела его в столовую и указала на большой сосновый стол, которым очень гордилась.

— Разломай этот стол на доски,— сказала она.

Убрав лежавшие на нём вещи, Боб перевернул его и начал отбивать верхние доски.

Когда он смастерил гроб, жена одного из фоссикеров сказала, что у него слишком убогий вид. Она распоролла свою чёрную амазонку и заставила Боба обить гроб материей.

В лагере не было никаких перевозочных средств, кроме старой телеги Мартина, и вот около двух часов дня Пэт Мартин привязал свою старую лошадь Дублина к оглоблям обрывками сбруи и многочисленными верёвками и потащил Дублина вместе с телегой к хижине Мэсона.

Вывесли маленький гроб, а рядом с ним поставили на телегу два ящика из-под джина, предназначенные служить сиденьем для миссис Мартин и миссис Гримшоу, которые и водрузились на них молча и в слезах.

Пэт Мартин полез было за трубкой, но опомнился и поставил ногу на оглоблю. Мэсон повесил замок на дверь хижины.

Один-два удара вывели костлявого Дублина из дремоты. Рванувшись сначала вправо, потом влево, он тронулся в путь, и вскоре маленькая погребальная процессия скрылась из виду, спускаясь по дороге, которая вела к «городу» и кладбищу.

Примерно через полгода Боб Саукис совершил маленькое путешествие и вернулся с высоким, боро-

датум молодым человеком. Они явились, когда уже стемнело, и направились прямо к хижине Мэсона. Там горел свет, но когда Боб постучал, никакого ответа не последовало.

— Входи, не бойся,— сказал он своему спутнику.

Незнакомец толкнул скрипучую дверь и, шагнув через порог, остановился с непокрытой головой.

Над огнём кипел забытый котелок. Мэсон сидел за столом, положив голову на руки.

— Отец!

Ответа не было, но в неверном свете очага незнакомцу почудилось, будто Мэсон нетерпеливо перередёрнул плечами.

Секунду незнакомец постоял в нерешительности, потом, подойдя к столу, положил руку на плечо Мэсона и мягко сказал:

— Отец! Тебе нужен другой помощник?

Но спящему он был не нужен — во всяком случае в этом мире.

ПРИВЛЕКО Б СТАРЫМ БЕРЕГАМ

Незнакомец вошёл в бакалейную лавку на углу с видом человека, который вернулся после многолетнего отсутствия, чтобы повидать того, кто будет рад его видеть. Не спеша, он спустил со спины свой узел и положил его у стены; потом оперся локтем о прилавок, погладил бороду и хитро улыбнулся лавочнику, который с некоторым недоумением ответил ему улыбкой.

— Добрый день,— сказал бакалейщик.

— Добрый день.

Пауза.

— Погожий денёк,— сказал бакалейщик.

Пауза.

— Чем могу вам служить?

— А вот чем... Скажите-ка старику, что пришёл тут один парень и хочет минутку с ним потолковать.

— Старику? Какому старику?

— Хеку, конечно, старому Бену Хеку! Его нет дома?

Лавочник улыбнулся.

— Хека теперь здесь нет. Здесь я.

— Как так?

— Вот уже десять лет, как он продал мне своё заведение.

— Ну, что ж, видно, я разыщу его где-нибудь в городе?

— Вряд ли разыщете. Он распродался и уехал из Австралии. Он... он теперь уже помер.

— Помер! Старый Бен Хек?

— Да. Стало быть, вы его знали?

Незнакомец как будто утратил немалую долю самоуверенности. Он повернулся боком к прилавку, оперся на локоть и стал смотреть в открытую дверь на Западный тракт.

— Дайте мне полфунта табаку,— сказал он спокойным тоном.— А молодой Хек, верно, здесь, в городе?

— Нет, вся семья уехала. Кажется, один из сыновей занимается торговлей в Сиднее.

— Ну, а М'Лаклены ещё здесь?

— Нет их здесь. Старики померли лет пять назад, сыновья, кажется, в Куинсленде, а обе дочери вышли замуж и живут в Сиднее.

— Так... А у вас тут проходит теперь железная дорога.

— О, да! Вот уже шесть лет.

— Большие тут перемены.

— Большие.

— Я думаю... А не скажете ли вы, где я могу найти старого Джимми Наулета?

— Джимми Наулет? Джимми Наулет? Никогда не слышал о таком. Чем он занимался?

— Был погонщиком волов. Переваливал через горы, когда ещё не было железной дороги.

— Вероятно, ещё до меня. Теперь в этих краях нет никого с такой фамилией.

— Так... Догганов вы вряд ли знали?

— Как же, знал! Старик тоже помер, семья уехала... бог весть куда. Потеря во всяком случае невелика. Я слышал, что сыновья попали в беду — кончили плохо. О них здесь дурная слава.

— Разве? Но люди они были добрые — по крайней мере старый Малаки и его старший сын... Дайте мне ещё фунта два сахара.

— Ладно. Должно быть, давненько вы здесь не бывали?

— Пятнадцать лет.

— Ого!

— Да... Скажите, не напоминаю ли я вам кого-нибудь, кого вы раньше здесь встречали?

— Н... нет,— с улыбкой отозвался бакалейщик.— Я бы этого не сказал.

— Ну, ладно! Сдаётся мне, Уайльдов я найду там, где они раньше жили?

— Уайльдов? Ну, нет. Старик тоже помер, а...

— А где... где Джим? Неужели умер?

— Нет... Он женился и уехал в Сидней.

Длительная пауза.

— Можете ли вы...— нерешительно начал незнакомец— не скажете ли вы... вероятно, вы знали Мери — Мери Уайльд?

— Мери? — улыбаясь, повторил бакалейщик.— Уайльд — девичья фамилия моей жены. Не хотите ли повидать её?

— Нет, нет! Она меня, может, и не вспомнит!

Он быстро потянулся за своим узлом и взвалил его на плечи.

— Ну, пора и в путь.

— Вы проведёте здесь святки?

— Нет... Незачем мне здесь задерживаться... потащусь дальше. Я собирался остаться здесь на святки — собственно говоря, для этого я сделал здоровый крюк... Хотелось провести ещё одно рождество со старым Беном Хеком и остальными ребятами... Но я не знал, что они забрались так далеко на запад. Старожилы джунглей вымирают.

Глаза его улыбались, но губы в зарослях бороды слегка подёргивались.

— Времена настали другие. Старые дома остались почти такими, как были, и попрежнему не мешают подправить и подкрасить старые вывески, и старый частокол стоит на своём месте... Мы его сделали двадцать лет назад — я, Бен Хек и Джимми Наулет. Немало дорог исколесил я с той поры... Но времена теперь другие — во всяком случае люди другие... Ну, что ж, шую итти. Здесь меня ничто не задерживает. Потащусь дальше и опять войду в свою колею. Ночью прохладней итти.

— Да, день был довольно жаркий.

— Жаркий... Ну, прощайге.

— Счастливый путь. С весёлыми святками!

— Что? Ах, да! И вас также. Прощайге!

— Счастливый путь!

Он вышел и пошёл по Западному тракту.

ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ЗАБЫЛ

— Кто его знает? — сказал Том Маршел, по прозвищу «Оракул». — Мне приходилось слышать о таких случаях. Они довольно редки, но... мне приходилось о них слышать.

И он скривил левую сторону лица, задумчиво

почёсывая отромное правое ухо широким лезвием складного ножа.

Они сидели у западного конца барака, наслаждались ветерком, поднявшимся после заката солнца, курили и болтали. «Случай», о котором шла речь, был представлен весьма жалким экземпляром клапа странствующих с узлами; объездчик нашёл его на равнине, примыкающей к границе, и доставил на станицю. Это был маленький сухопарый человек, неприятно белобрый, с большой и круглой, как у младенца, головой, с блуждающими водянистыми глазами, с длинными тонкими волосатыми руками, которые были на ощупь, как мокрые водоросли, а в манере себя держать было что-то извиняющееся, раболепное и льстивое. Он заявил, что не помнит, кто он такой, и ничего о себе не помнит.

Оракул был глубоко заинтересован этим случаем, как интересовался он вообще всем, что «казалось любопытным». Он был дюжим простодушным стригачом, у которого доброты было больше, чем мозгов, опыта больше, чем здравого смысла, а любопытства больше, чем чего бы то ни было. Удивительно, что он не извлёк пользы, хотя бы окольным путём, из этого последнего свойства. Сердце его было исполнено какой-то почтительной жалости к каждому, кто имел счастье или несчастье быть «обиженным судьбой»; и среди его приятелей числились глухой, слепой, поэт и «свихнувшийся». Том встретил их, когда они были на дне, оказал им дружескую поддержку и изучал их с величайшим интересом — в особенности поэта; а им Том был по душе, и были они ему благодарны, — все, кроме свихнувшегося субъекта, который полагал, что Том преследует свои цели, а именно хочет вырезать его печень и воспользоваться ею, как приманкой для трески в реке Дарлинг, почему он и отказался от приятельских с Томом отношений.

Итак, вполне естественно, что Оракул взял под своё крылышко этот новый «случай». Он использовал своё влияние на босса, чтобы пристроить «загадку» на работу, изучал его на досуге и делал всё возможное, чтобы расшевелить его бедную приглушённую память, которая — что бы ему ни говорили и что бы ни делали — не могла восстановить события, предшествовавшие тому дню, когда неизвестный «словно проснулся» на равнине и увидел подле себя узел. Узел развязали и осмотрели в поисках нити, но никакой нити не нашли.

Сначала ребята отнеслись к делу скептически и были не прочь потешиться над Загадкой, но тут вмешался Том и дал понять, что если у них хватит подлости издеваться над «обиженным судьбой беднягой» или «проделывать с ним штучки», он, Том, принуждён будет «выступить». Почти все ребята видели выступления Тома, и, казалось, никто не стремился к главным ролям. Все предпочитали быть зрителями.

— Да,— задумчиво продолжал Оракул,— случай любопытный, и, по-моему, кое-кто из важных докторов вроде Морелла Мекензи с радостью выложил бы тысячи две, чтобы только заполучить такого пациента.

— Идёт! — крикнул Митчел, первый шутник в бараче.— Готов взять половину. Или нет, постойте! Образуем синдикат и пустим в оборот Загадку.

Кое-кто захохотал, но шутка, по обыкновению, не дошла до Тома.

— Хуже всего то...— заговорил сам Загадка хнычущим голосом, дарованным ему природой, и искоса бросил робкий взгляд на Тома.— Хуже всего то, что, может быть, я — какой-нибудь лорд или герцог и ровню ничего об этом не знаю. Может быть, я богач, у меня есть дома и деньги. Может быть, я — лорд.

Ребята заржали.

— Над чем вы смеётесь?— осведомился Митчел.— Ничего невероятного в этом нет. У него та-

кая наружность, что он может быть лордом. Я видел двух лордов.

— Так-то оно так,— сказал Том, игнорируя Митчела,— но, видишь ли, ты можешь оказаться и Джеком Потрошителем. Лучше ты над этим не задумывайся, приятель. Пусть мёртвое прошлое хоронит своих мертвецов. Начни заново с чистой страницы.

— Но я даже фамилии своей не знаю, не знаю, женат я или холост,— захныкал бедняга.— Может быть, у меня есть хорошая жена и детишки.

— Вот и хорошо, что об этом ты забыл, приятель,— сказал Митчел,— а что касается имени, так это пустяки. Я сам своей фамилии не знаю, и у меня их было восемь. Масса хороших имён болтается без дела. Я знал одного человека, которого звали Джим Смит, он умер. Возьми его фамилию, она как раз тебе подходит, и вряд ли он придёт, чтобы потребовать её. А если потребует, ты можешь сказать, что родился с ней.

С той поры стали звать его Смитом и вскоре начали смотреть на него, как на безобидного сумасшедшего, и не обращали внимания на его странности.

Этот случай вызвал огромный интерес, и даже Митчел вмешался в дело и испробовал все средства, чтобы помочь Загадке в его слабых, беспомощных и жалких попытках вспомнить, кто он такой. Как раз в ту пору появилось в газетах сообщение об аналогичном случае, и дело до такой степени раздули, что Оракул принуждён был извлечь какой-нибудь совет из своих запасов премудрости.

— Будь я на твоём месте, я бы поменьше об этом думал,— сказал он Митчелу.— Сотни разумных людей походили с ума из-за этого Тичборновского дела только потому, что о нём думали, хотя оно вовсе их не касалось, а у тебя и без того уже не все дома, Джек. Брось думать и доверься мне: как толь-

ко мы покончим со стрижкой, я узнаю, кто такой Смит.

Тем временем Смит ел, работал и спал, занимал табак и забывал его возвращать, что и было отмечено. Когда его спрашивали, он охотно говорил о своём случае, но если он к кому-нибудь обращался, у него всегда был вид застенчивого, но добродетельного молодого человека, который знает, сколь велика и могущественна греховность мира сего, и отчасти страшится её, но тем не менее просил бы вас осчастливить смиренного труженика в винограднике, мило-ство приняв от него религиозную брошюру и передав её по прочтении своим друзьям.

Однажды утром, в субботу, недели за две до конца стрижки, Оракул вышел на работу поздно и был, повидимому, чем-то озабочен. Смит вовсе не явился и его работу исполнял другой рабочий, к неудовольствию всех непосредственно заинтересованных лиц.

— Видел ты Смита?— спросил Митчел Оракула.— Кажется, он позабыл сегодня проснуться.

У Тома вид был разочарованный и удручённый.

— Он опять забыл,— произнёс он медленно и внушительно.

— О чём забыл? Нам известно, что он, черт подери, забыл выйти на работу.

— Он опять забыл,— повторил Том.— Сегодня он проснулся и пожелал узнать, кто он и где он.

Комментарии.

— Брось ты его, Оракул!— посоветовал Митчел.— Если он не может узнать, кто он и где он, босс очень скоро за него узнает.

— Нет, когда я берусь за дело, я довожу его до конца,— сказал Том.

Этим свойством отличался также и босс, хотя действовал в другом направлении. Он пошёл в барак и вызвал Смита.

— Почему ты не на работе?

— Кто я, сэр? Где я? — захныкал Смит. — Будьте так добры, скажите мне, кто я и где я.

Босс перевёл дух и растерянно посмотрел на Загадку, а потом взорвался.

— Эй, ты, слушай! — заревел он. — Кто ты такой, чорт тебя дерни, я не знаю, да мне и наплевать, знаю только, что ты свихнулся! Но я тебе сейчас покажу, где ты! Можешь зайти в лавку и получить свой чек, да поторапливайся. А потом убирайся и не забудь прихватить с собой твой любезный узел.

Этот инцидент обсуждали за обедом. Оракул клятвенно утверждал, что такое обращение с «обиженным судьбой» жестоко и гнусно, и ругал босса. Поклонники Тома из симпатии к нему тоже ругались, и дело грозило принять неприятный оборот, когда заговорил Митчел голосом размеренным, внушительным, заглушая стук ножей и жестяных тарелок.

— Интересно, забыл ли Смит о своём чеке, — сказал он.

Было установлено, что Смит не забыл. После этого занялись едой и размышлениями.

Немного погодя снова раздался голос Митчела, обратившегося к Оракулу. Он сказал:

— Ты хранишь у себя на койке какне-нибудь ценные вещи, Оракул?

Том пристально посмотрел на Митчела.

— А что такое?

— Так, ничего. Просто я подумал, что не худо было бы, если бы ты осмотрел свою койку и установил, забыл ли Смит.

Ребята ужасно заинтересовались. Они впились глазами в Тома, а тот с чувством переводил взгляд с одного лица на другое. Потом он отодвинул тарелку и медленно высвободил свои длинные ноги, зажатые между табуретом и столом. Он пролез к своей койке и старательно осмотрел содержимое узла.

Смит не забыл.

Когда лицо Оракула снова обратилось к столу, на нём было странное выражение, которое при внимательном изучении следовало бы назвать скорее гневным, чем скорбным, но этого мало. Такое выражение могло быть у человека, который подвергается мучительной операции, без хлороформа, но принял решение перенести её без единого стога. Том не ругался, и по этому признаку все догадались, как он взбешен. Народ в сарае был грубый, свободно распорядившийся крепкими словечками, но если бы они все, во главе с Одноглазым Богеном, начали ругаться хором, всё равно они не воздали бы должного чувством Тома — и они это понимали.

Оракул снял с гвоздя узду и двинулся к двери, напутствуемый почтительным и сочувственным молчанием, которое лишь отчасти было нарушено благоговейным шопотом Митчела, задавшего вопрос:

— Идешь за своей лошадей, Том?

Оракул кивнул и проследовал дальше. Он не проронил ни слова — ему было не до слов.

Прошло пять минут, и снова раздался голос Митчела, незаглушённый стуком жестяных тарелок. Он сказал внушительно:

— Не худо было бы, ребята, если бы те из вас, кто спит на соседних койках, поглядели на свои вещи. Койка Скотти стоит рядом с койкой Тома.

Скотти сорвался с места, словно змея обвилась вокруг его ноги, сдвинул одну из досок стола и опрокинул три тарелки с супом. Он ринулся к своей койке, как утопающий к доске, и сбросил с неё одеяло. Смит опять-таки не забыл.

Затем начался генеральный осмотр, и в большинстве случаев было установлено, что Смит вспомнил. Закупоренный сосуд с богохульной руганью взорвался.

В тот же вечер Оракул настиг Смита в ближайшем трактире и убедился, что тот снова забыл, забыл

ещё кое-что и продолжает забывать под влиянием рома и лестного интереса, с каким отнёсся к его случаю пьяный бакалавр искусств, находившийся в трактире. Том вошёл потихоньку через задний ход и согнутым пальцем поманил содержателя трактира. Они отошли в сторонку и некоторое время беседовали с большим жаром. Затем они осмотрели тайком узел Смита, содержимое коего состояло преимущественно из ценных вещей Тома и его товарищей.

Затем Оракул расшевелил воспоминания Смита и отбыл.

Смит появился снова недели через две. Он несколько пострадал физически, но память его уже не была повреждена.

РАССКАЗАТЬ МИССИС БЭКЕР

Большинство обитателей австралийских зарослей, которым «не довелось перекинуться словечком» с Бобом Бэкером, знало о нём «понаслышке». Несколько лет назад он был скваттером на реке Мэккуари в Нью Саут Уэлсе, нажил деньги в удачливые года и увлёкся скачками, разведением скаковых лошадей и поездками в Сидней, где останавливался в шикарных отелях и жил на широкую ногу. И вот, после жестокой засухи, когда овцы на его пастбищах гибли тысячами, Боб Бэкер пошёл ко дну, и банк забрал его станцию и назначил управляющего.

Он был человек весёлый, щедрый, популярный, а это означало, что он был эгоистом, поскольку дело касалось его жены и детей, ибо в конце концов страдать приходилось им. Такая щедрость частенько объясняется тщеславием или моральной трусостью или и тем и другим. Очень приятно слушать, как ребята кричат: «Он чертовски славный парень», но

расплачиваться за это большей частью приходится дважды — один раз в компании, а потом наедине с собой. Я тоже слышал, как ребята кричали, что я чертовски славный парень, когда я уезжал, а они устроили мне проводы. Я разволновался, и слёзы накали на глазах, а всё же я пожалел, что не осталось у меня половины тех денег, какие я роздал им займы и спустил на них, и я пожалел, что не провёл время с толком, а потратил его зря на то, чтобы показать себя чертовски славным парнем.

Когда мы пересекли границу Куинсленда, мне по-он был гуртовщиком на Великой северо-западной дороге, а жена его жила в Солонге неподалеку от Сиднея. Он отправлялся на север в новую страну, мимо залива Карпентария с большим гуртом рогатого скота в двухгодичное путешествие, а я и мой товарищ Энди М'Каллок договорились отправиться с ним. Нам хотелось посмотреть Страну Залива.

Когда мы пересекли границу Куинсленда, мне показалось, что босс что-то уж слишком тянется к придорожным кабакам и городским трактирам. Энди однажды уже путешествовал с ним и сообщил мне, что эта склонность обнаружилась у босса только за последнее время. Энди хорошо знал миссис Бэкер и, повидимому, был о ней высокого мнения.

— Она славная маленькая женщина, — сказал Энди. — Из настоящих людей. Одно время я работал у них на станции, когда был мальчишкой, а потому её знаю. Она всегда была слишком хороша для босса, но она верила в него. Когда я собирался в это путешествие, она говорит мне: «Слушай, Энди, боюсь, что Роберт опять начал выпивать. Я тебя прошу, присматривай за ним по мере сил — ты на него имеешь влияние больше, чем всякий другой. Я хочу, чтобы ты мне обещал не выпивать вместе с ним».

— И я обещал, — прибавил Энди, — и слово я сдержу.

Энди был из тех парней, которые дорожат своим словом и больше ничем. И как босс ни уговаривал его, ни издевался и ни ругался, Энди ни разу не согласился выпить с ним.

Дело шло всё хуже да хуже: босс выезжал вперёд и напивался в кабаке, а иной раз отставал, и когда через несколько дней догонял нас, расположение духа у него бывало такое, что мы только-только могли вытерпеть. Наконец он отчаянно закутил в Мульгатауне и, что ещё того хуже, спутался там с разбитной буфетчицей — одной из тех девиц, которых нанимают трактирщики на севере в качестве приманки для толстосумов.

Эта девица свела его с ума. Агент скотопромышленника вынужден был дать ему авансом чек, и босс спустил всё; потом какими-то способами раздобыл ещё денег и тоже спустил — главным образом, на девушку.

Мы сделали всё, что могли. Два перегона Энди протащил его с нами, и только-только мы решили, что он пришёл в себя, как он улизнул от нас ночью и вернулся в Мульгатаун.

Было у нас ещё два погонщика, но со скотом было чертовски много хлопот. Дело совсем разладилось. В тех краях тянулись бесконечные пастбища, и нам всё время приходилось следить, чтобы волы не сворачивали с дороги, в противном случае грозили неприятности за нарушение чужих границ. Агент не собирался итти на издержки и держать скот в загоне, пока протрезвится босс; вдоль всего нашего пути, а также на резервных землях и в лагерях травы было очень мало, и мы принуждены были двигаться вперёд, чтобы не остаться без корма.

Мир может зашататься, все банки могут лопнуть, но стадо должно итти вперёд, — таков закон гуртовых дорог. Поэтому агент послал телеграмму скотопромышленнику и, получив ответ, уволил босса, а

стадо отправил дальше с другим гуртовщиком. Новый босс был погонщиком, возвращавшимся на юг после очередного путешествия, при нём находились его два брата, и, стало быть, он не нуждался во мне и Энди. Да мы и так уже по горло были сыты этой работой, а потому и договорились с агентом и новым боссом, чтобы с нами был произведён расчёт, — наш босс успел взять часть нашего жалованья и спустить её.

Мы могли немедленно тронуться в обратный путь, но религия джунглей не позволяет бросить товарища в беде — всё равно, пьян он или трезв, помешан или в своем уме, хорош или плох, а босс был нашим товарищем, и мы остались с ним.

Мы раскинули лагерь на берегу речки за городом, старались держать босса в лагере и делали для него всё, что могли.

— Как я посмотрю в лицо его жене, если вернусь домой без него? — говорил Энди. — И его старым товарищам?

Дошло до того, что босса выгнали из трактира, где служила его буфетчица, а тогда он стал таскаться по другим кабакам, каким-то образом напивался, ввязывался в драку, и его колотили. К тому времени на него страшно стало смотреть — глаза безумные, тощий, и несколько дней он не мылся и не брился.

Энди добился того, чтобы констебль из полицейского участка посадил его на одну ночь под замок, но ему стало только хуже. Утром мы увели его назад в лагерь, но стоило нам отвернуться, как он уже улизнул в заросли, разделся догола и попытался повеситься на пригнувшемся к земле дереве, воспользовавшись верёвкой для сушки белья. Мы подошли как раз во-время.

Тогда Энди телеграфировал брату босса Неду, который воевал с засухой, кроликами и банками на

маленькой пограничной станции. По мнению Энди, настало время действовать.

Может быть, босс был не в себе ещё до того, как запил,— теперь мы припомнили, что иной раз он делал несуразные вещи; возможно, что с ним был лёгкий солнечный удар или он начал задумываться о своих невзгодах,— как бы там ни было, он умер через неделю, преследуемый кошмарами.

Его брат Нед явился в последний день, и Боб принял его за дьявола и сцепился с ним. Иной раз мы втроём едва могли удержать босса.

Когда дело подошло к развязке, он иногда приходил на несколько минут в сознание и говорил о своей «бедной жене и детях», но тутчас же вслед за этим начинал проклинать меня, Энди, Неда и называть нас чертями. Он проклинал всё и всех, проклинал жену, детей и вопил, что они волокут его в ад. Он умер буйным помешанным. Это была самая страшная смерть из всех смертей, вызванных пьянством, какую мне случалось видеть и о какой я слышал в джунглях.

Нед позаботился о похоронах: стояла сильная жара, а людей, которые умирают в жаркую погоду, нужно хоронить быстро — в особенности тех, кто умирает в таком состоянии, в каком был босс. Затем Нед отправился в трактир, где служила та буфетчица, и вызвал трактирщика. Драка была жестокая: трактирщик, парень дюжий, кое-что смыслил в этом деле; но Нед был одним из тех спокойных, простодушных ребят, которые, однажды приняв решение, идут к цели, не останавливаясь ни перед чем. Он задал трактирщику почти такую здоровую взбучку, какую тот заслужил. Полицейский констебль взял сторону Неда, а другой полисмен подсобрал трактирщика. Вам, городским жителям, это покажется странным, не так ли?

На следующее утро мы трое двинулись к югу. Денька два мы провели у Неда Бэкера на его погра-

ничной станции, а затем начался наш трёхсотмильный переезд верхом на юг. Погода всё ещё стояла очень жаркая, поэтому мы решили путешествовать первое время ночью и покинули станцию Неда в сумерках. Он расстался с нами у ворот усадьбы. Энди он передал маленький пакет, завернутый в парусину, в котором, как сказал мне Энди, была записная книжка Боба, его письма и документы. Проехав немного по пыльной дороге, мы оглянулись и увидели, что Нед всё ещё стоит у ворот, и очень одинокой показалась нам его фигура.

— Бедный старина Нед! — сказал мне Энди. — Он был влюблён в миссис Боб Бэкер до ее замужества, но она сделала неудачный выбор — с девушками почти всегда случается так. Нед и Боб жили вместе на Мэккуари, но после женитьбы брата Нед уехал и с тех пор живёт в этих богом забытых зарослях. Слушай, Джек, я хочу сказать тебе кое-что: Нед написал миссис Боб, что Боб умер от лихорадки, и для него было сделано всё возможное, и умер он спокойно — и прочее, в том же духе. Нед посылает ей деньги, и пусть она думает, что эти деньги он был должен Бобу, когда тот умер. Ну, так вот, мне придётся повидаться с ней, когда мы приедем в Солонг; от этого не отвертишься, придётся встретиться с ней лицом к лицу, а тебе придётся пойти со мной.

— Провалиться мне на месте, если я пойду! — сказал я.

— Но тебе придётся пойти, — возразил Энди. — Ты должен поддержать меня. Неужели у тебя хватит подлости бросить товарища, попавшего в такое затруднительное положение? Я должен буду лгать, как чорт, — мне придётся лгать так, как я никогда еще не лгал женщине, а тебе придётся поддерживать меня и подтверждать каждое лживое слово.

Я никогда ещё не видел Энди в таком волнении.

— Времени много, успеем сочинить прекрасную историю,— заявил Энди.

Больше он ни слова не сказал о миссис Бэкер, а о боссе мы упоминали только случайно, пока не очутились от Солонга на расстоянии одного дня езды. Тогда Энди рассказал мне историю, которую он сочинил о смерти босса.

— И я хочу, чтобы ты слушал, Джек,— сказал он,— и запомнил каждое слово, а если ты можешь сочинить что-нибудь получше, ты мне потом расскажешь. Вот как было дело: босс почувствовал недомогание, когда мы пересекли границу. Он жаловался на боли в спине, на головную боль и острую боль в затылке, и у него была сильная дизентерия, но это неважно: хорошо, что я не должен рассказывать женщине обо всех симптомах. Босс делал своё дело, пока хватало сил, но мы управлялись со скотом и старались, как могли, облегчить для него работу. Он себя берёт, ехал от привала до привала и отдыхал. Однажды ночью я поехал в город, находящийся в стороне от дороги (или, если хочешь, поехал ты), и привёз лекарство для него; оно ненадолго помогло, но, наконец, на расстоянии одного-двух дней пути до Мульгатауна, пришлось ему сдаться. Один местный скваттер отвёз его на своей двуколке в город и поместил в лучшую гостиницу. Хозяин гостиницы знал босса и сделал для него всё, что мог — устроил в лучшей комнате, вызвал по телеграфу другого доктора. Неду мы протелеграфировали, как только поняли, что боссу очень плохо, и Нед ехал день и ночь и явился за три дня до его смерти. По временам босс бредил от лихорадки, но перед концом был спокоен, и смерть его была лёгкой. Он всё время говорил о своей жене и детях и просил нас передать жене, чтобы она не горевала и постаралась приободриться ради детей. Ну, как оно получается?

Слушая его, я размышлял, и мне пришла в голову одна мысль.

— А почему бы ей не узнать правды? — спросил я.— Рано или поздно она непременно об этом услышит. А если она будет знать, что он был просто эгоистом, пьяницей и бездельником, пожалуй, она скорее придёт в себя.

— Ты не знаешь женщин, Джек,— спокойно сказал Энди.— И даже если бы она была разумной особой, всё равно мы должны думать не только о живой женщине, но и об умершем товарище.

— Но рано или поздно она непременно услышит правду,— повторил я.— Босса слишком хорошо знали.

— Вот потому-то, может быть, и удастся скрыть от неё правду,— сказал Энди.— Если бы его меньше знали,— а в конце концов его не могли не любить, когда он держал себя в порядке,— если бы его не так хорошо знали, правда, пожалуй, просочилась бы невзначай. А уж я сделаю всё, чтобы она не узнала или по крайней мере узнала не теперь. Если увижу ребят, приезжающих с севера, научу их, что делать. И М'Гресту, трактирщику в Солонге, тоже скажу; он человек порядочный — он будет настороже и предупредит ребят. У миссис Бэкер гостит одна из её сестёр; я ей намекну, чтобы она предостерегала женщин, до которых могли дойти сплетни. Вдобавок миссис Бэкер наверняка поселится в Сиднее, там вся её родня — родом она из Сиднея. А там ей вряд ли встретится кто-нибудь, кто мог бы рассказать всю правду. Я ей скажу, чтобы она переехала в Сидней — такова последняя воля босса.

Мы закурили и призадумались, а немного спустя Энди осенила мысль, которую он назвал «счастливой». Он подошёл к своим седельным сумкам и достал маленький свёрток в парусине, полученный от Неда. Он был зашит толстой ниткой, и Энди вспорол его складным ножом.

— Что ты делаешь, Энди? — спросил я.

— Нед — наивный старый дурень, когда дело пахнет грехом, — сказал Энди. — Вряд ли он просматривал письма босса; вот я и хочу посмотреть, нет ли тут чего-нибудь такого, что может выставить нас лжецами.

При свете костра он начал просматривать письма и бумаги. Было здесь несколько писем от миссис Бэкер её мужу, а также фотографическая карточка её и детей. Энди отложил их в сторону. Но были и другие письма от буфетниц и женщин, недостойных ходить по одной улице с женой босса; и были фотографические карточки — среди них одна-две непристойные. И были два письма от чужих жен.

— А один из мужей был старым товарищем босса! — с омерзением сказал Энди.

Он швырнул всю пачку в огонь; потом перелистал записную книжку босса, вырвал оттуда несколько страниц с пометками и адресами и тоже сжёг их. После этого он снова зашил свёрток и спрятал в седельную сумку.

— Такова жизнь! — сказал Энди, не то зевнув, не то вздохнув.

В Солонг мы приехали утром, пустили наших лошадей в загон и расположились в гостинице М'Грета вплоть до того времени, когда примем решение, что нам дальше делать и куда ехать. Была у нас мысль подождать сезона стрижки и затем отправиться назад на север, к большим сараям.

Мы оба не торопились встретиться лицом к лицу с миссис Бэкер.

— Пойдём после сбеда, — заявил сначала Энди.

Но после обеда мы выпили, и нас начало клонить в сон — мы не привыкли к сытным обедам, состоящим из ростбифа, овощей и пудинга, да и от жары нас разморило, — поэтому мы решили вздремнуть и потом уже пойти. Проснулись мы поздно,

под вечер, вот мы и подумали, что лучше отправиться после чаю.

— Неприлично вваливаться в дом, когда пьют чай,— сказал Энди.— Похоже будет на то, что мы пришли только ради еды.

Но пока мы сидели за чаем, явилась девочка сказать, что миссис Бэкер хочет нас видеть и была бы очень признательна, если бы мы заглянули как можно скорее. Видите ли, в этих маленьких городках шагу нельзя ступить, чтобы об этом не узнали не позднее, чем через полчаса.

— Теперь уж придётся идти навстречу беде! — сказал Энди.— Не отвертись.

Кажется, ему не хотелось идти ещё больше, чем мне. Против того дома, где жила миссис Бэкер, был ещё один трактир, и, пройдя несколько шагов по улице, я сказал Энди:

— Не зайти ли нам сначала выпить, Энди? Нас могут там задержать на час — на два.

— Незачем тебе больше пить,— отрезал Энди.— Ты что, идёшь по той же дорожке, что и босс?

Но когда мы подходили к дому миссис Бэкер, к трактиру свернул Энди, а не я.

— Ладно! — сказал он.— Идём! Выпьем ещё, раз уж тебе так хочется.

Мы выпили, потом застегнули куртки и перешли через дорогу — мы купили новые рубашки и воротнички и немножко принарядились. Посреди улицы Энди вцепился в мою руку и спросил:

— Как ты себя чувствуешь, Джек?

— О, я-то молодцом,— ответил я.

— Ради бога,— сказал Энди,— не вмешивайся, а то испортишь всё дело.

— Не испорчу, только бы ты не испортил.

Котэдж миссис Бэкер был маленьким обштым досками ящиком, стоявшим в саду. Когда мы вошли в

калитку, Энди снова вцепился в мою руку и прошептал:

— Ради бога, выручай меня теперь, Джек!

— Ладно, выручу,— сказал я,— ты выпил слишком много пива, Энди.

Я уже видел миссис Бэкер, и она запомнилась мне, как бодрая, жизнерадостная женщина, хлопотавшая по дому и укладывавшая для босса рубашки и другие вещи, когда мы отправлялись на север. Одна из тех женщин, которые с охотой занимаются хозяйством и детьми и не слишком обременены мозгами. Но теперь она сидела у камина, словно призрак самой себя. Я бы не сразу её узнал. Никогда не видел я такой перемены в женщине и был прямо-таки потрясен.

Нас впустила её сестра и, бросив один взгляд на миссис Бэкер, я уже ничего, кроме сестры, не видел. Это была девушка из Сиднея, лет двадцати четырёх — двадцати пяти, свежая и белокурая, совсем не похожая на обожжённых солнцем женщин, к которым мы привыкли. Она была хорошенькая, с ясными глазами, очень смыслёная и отзывчивая. Энди сказал мне, что она получила образование и пишет рассказы для «Бюллетеня» и других сиднейских газет. Причёсана и одета она была по городской моде, и в первую минуту мы немножко растерялись.

— Спасибо, что пришли,— сказала миссис Бэкер слабым, усталым голосом, когда мы только что вошли в комнату.— Я узнала, что вы в городе.

— Мы как раз собирались прийти, когда вы за нами прислали,— сказал Энди.— Мы бы раньше пришли, но сначала нужно было позаботиться о лошадях.

— Я вам очень благодарна,— сказала миссис Бэкер.

Они предложили нам чаю, но мы сказали, что недавно пили. Тогда мисс Стэндиш (сестра) предло-

жила чаю с кексом, но мы почувствовали, что сейчас нам не удастся успешно орудовать чашками, блюдами и кусками кекса.

Один из ребятшек расхворался и лежал в задней комнате, сестра пошла его проведать. Миссис Бэкер тихонько всплакнула.

— Не обращайтесь на меня внимания,— сказала она.— Сейчас всё пройдёт, и тогда вы мне расскажете о бедном Бобе. Вы были при нём до конца, вот я и расстроилась, увидев вас.

Энди и я сидели, выпрямившись и одеревянев, на двух стульях у стены, крепко сжимали в руках шляпы и тарасили глаза на картину на противоположной стене, изображавшую встречу Веллингтона с Блюхером. Я порадовался, что здесь висит эта картина.

Ребёнок позвал: «Мама!» — и миссис Бэкер пошла к нему, а её сестра вернулась.

— Лучше покончить с этим делом и рассказать ей всё,— шепнула она Энди.— Она не успокоится, пока не услышит о бедном Бобе от того, кто был с ним, когда он умер. Дайте мне ваши шляпы. Усаживайтесь поудобнее.

Она взяла у нас шляпы и положила их на швейную машину. Я пожалел, что она их отобрала, потому что теперь нам не за что было держаться и некуда девать руки. А что до удобств, то было нам так же удобно, как двум кошкам на сырых кирпичках.

В комнату вошла миссис Бэкер и привела маленького Бобби Бэкера, лет четырёх; он хотел видеть Энди. Он сразу подбежал к Энди, и тот посадил его к себе на колени. Это был хорошенький мальчик, но мне он слишком напоминал своего отца.

— Как я рад, что ты пришёл, Энди! — сказал Бобби.

— Рад, Бобби?

— Да. Я хочу расспросить тебя о папе. Ты видел, как он уходил, да? — И он уставился в лицо Энди своими большими, удивлёнными глазами.

— Да,— сказал Энди.

— Он поднялся к звёздам, правда?

— Да,— сказал Энди.

— И больше он не вернётся к Бобби?

— Нет,— сказал Энди.— Но со временем Бобби пойдёт к нему.

Миссис Бэкер сидела, откинувшись на спинку стула и подперев голову рукой; на глазах у нее блеснули слёзы. Теперь она начала всхлипывать, и сестра увела её из комнаты.

У Энди был жалкий вид.

— Господи, хоть бы мне разделаться с этим делом! — шепнул он мне.

— Это та самая девушка, которая пишет рассказы? — спросил я.

— Да,— сказал он, с каким-то безнадёжным видом уставившись на меня.— И стихи тоже.

— И Бобби поднимется к звёздам? — спросил Бобби.

— Да,— сказал Энди,— если Бобби будет хорошим мальчиком.

— И тётя?

— Да.

— И мама?

— Да.

— И ты поднимешься, Энди?

— Да,— уныло сказал Энди.

— Ты видел, как папа поднимался к звёздам, Энди?

— Да,— сказал Энди,— я видел, как он поднимался.

— И больше он никогда уже не спустится вниз?

— Нет,— сказал Энди.

— Почему?

— Потому что он будет ждать там, наверху, тебя и маму, Бобби.

Последовало долгое молчание, потом Бобби спросил:

— А ты дашь мне шиллинг, Энди? — И глаза его выражали все то же неизное удивление.

Энди сунул ему в руку полкроны. Вошла «тётя», сказала ему, что он увидит Энди утром, и увела его спать, но сначала он торжественно поцеловал нас обоих. Затем она и миссис Бэкер расположились слушать рассказ Энди.

— Теперь, Джек, держись, не теряй головы, — шепнул мне Энди перед самым их приходом.

— Брат бедного Боба Нед написал мне, — сказала миссис Бэкер, — но он почти ничего не сообщает в письме. Нед хороший человек, но он простоват и никогда ни о чём не думает.

Энди рассказал ей о том, как босс почувствовал себя неважно, когда мы пересекли границу.

— Ещё до его отъезда я знала, что он нездоров, — сказала миссис Бэкер. — Я не хотела, чтобы он ехал. Я старалась отговорить его от этой поездки. У меня было такое чувство, будто я не должна его отпускать. Но он ни о ком не думал, кроме меня и детей. Он обещал после этого путешествия отказаться от перегона гуртов и поискать какую-нибудь работу поближе к дому. Такая жизнь была ему не по силам — разъезжать верхом во всякую погоду, почевать на привале под дождём, жить, как собаки. Но ему никогда не сиделось дома. Всё это он делал ради меня и детей. Он хотел заработать денег и снова обосноваться на станции. Я не должна была его отпускать. Он думал только обо мне и детях! О, мой бедный, добрый, дорогой покойный муж!

Снова она не выдержала и разрыдалась, сестра стала её утешать, а мы с Энди таращили глаза на Веллингтона, встретившегося с Блюхером на поле

боя при Ватерлоо. Я подумал, что художник нагромоздил слишком много трупов, и еще я подумал, что мне бы не понравилось, если бы по мне ступали лошади, даже будь я трупом.

— Не обращайтесь внимания,— сказала мисс Стэндиш,— она скоро успокоится.

И она протянула нам «Иллюстрированный сиднейский журнал». Это было большое облегчение — мы стукнулись лбами, наклонившись над картинками.

Миссис Бэкер заставила Энди продолжать, и он рассказал о том, как босс свалился близ Мульгатауна. Миссис Бэкер сидела против него, а мисс Стэндиш против меня. Обе не спускали глаз с Энди; волосы у него, по обыкновению, торчали, как щётка, а его большие невинные серые глаза не отрывались от лица миссис Бэкер всё время, пока он говорил. Я смотрел на мисс Стэндиш. Она казалась мне самой хорошенькой девушкой, какую я когда-либо видел. Это был тяжёлый случай любви с первого взгляда; но она была куда выше меня, и положение создалось безнадежное. Я начал впадать в уныние и обращаться мыслью к прошлому; я едва слышал, как гудит подле меня Энди.

— Из одеял и курток мы устроили ему удобную постель в повозке,— говорил Энди,— и скваттер повёз его в Мульгатаун... оттуда примерно тридцать миль, верно, Джек? — спросил он, неожиданно повернувшись ко мне.

Всегда у него был такой невинный вид, что иной раз мне ужасно хотелось прибить его.

— Пожалуй, около тридцати пяти,— сказал я, очнувшись.

Мисс Стэндиш перевела взгляд на меня, а я опять посмотрел на Веллингтона и Блюхера.

— Все были очень добры и внимательны к боссу,— сказал Энди.— Там его очень высоко ценили. Все его любили.

— Я это знаю,— сказала миссис Бэкер.— Его нельзя было не любить. Он был добрейшим человеком в мире.

— Тэнер, трактирщик, ухаживал за ним, как за родным,— продолжал Энди.— Тамошний доктор славный парень, но он ещё молод, и Тэнер не очень-то ему доверял, вот он и вызвал по телеграфу из Мэкинтайпра доктора постарше, и даже свежих лошадей он выслал навстречу докторской двуколке. Уверяю вас, миссис Бэкер, сделано было всё, что только можно сделать.

— Я вам верю,— сказала миссис Бэкер.— И вы не представляете себе, какое для меня утешение это слышать. А трактирщик взял издержки на себя?

— Он не согласился бы принять ни единого пенни, миссис Бэкер.

— Должно быть, это хороший, верный человек. Как бы мне хотелось поблагодарить его!

— О, Нед поблагодарил его за вас,— сказал Энди, ни на что, впрочем, не намекая.

— Я не ожидала, что Нед догадается об этом подумать,— сказала миссис Бэкер.— Когда я только что услышала о смерти моего бедного мужа, у меня мелькнула мысль, что, может быть, он опять запил — это меня немножко беспокоило.

— Уверяю вас, миссис Бэкер, он капли в рот не брал с той пэры, как уехал из Солонга,— поторопился сказать Энди.

Я заметил, что мисс Стэндиш иной раз как будто недоумевала или удивлялась рассказу Энди и наклонялась вперёд, прислушиваясь; потом она откинулась на спинку стула, заложила руки за голову, и мне не понравилось, как она смотрит на него из-под полуопущенных век. Раза два она посматривала и на меня, словно хотела задать вопрос, но каждый раз я быстро отводил глаза и смотрел на Блюхера и Веллингтона или в пустой камин, пока чувствовал на себе её

взгляд. Потом она задала один-два вопроса Энди — без всякой задней мысли, как думаю я теперь, но он испугался и, наконец, улучил момент и значительно подмигнул ей. Тогда она тихонько охнула и замкнулась, как стальная западня.

Большой ребёнок в спальне закашлял и снова расплакался. Миссис Бэкер пошла к нему. Мы трое сидели, как на собрании глухонемых: Энди и я глядели по сторонам. Вскоре мисс Стэндинш попросила извинить ее и вышла из комнаты вслед за сестрой. Уходя, она в упор посмотрела на Энди, но тот смотрел в сторону.

— Держись теперь, Джек! — шепнул мне Энди. — Приближается самое худшее.

Когда они вернулись, миссис Бэкер заставила Энди продолжать рассказ.

— Он... он умер очень спокойно, — сказал Энди, повернувшись на стуле, упершись локтями в колени и глядя в камин, чтобы свет не падал на его лицо. — Он умер лёгкой смертью, — сказал Энди. — По временам он немножко бредил, но это случалось, когда его трепала лихорадка. Он не очень страдал перед концом — я думаю, он вовсе не страдал... Он только и говорил, что о вас и о детях. (Голос Энди звучал теперь очень мягко.) Он сказал, чтобы вы не горевали и постарались приободриться ради детей.. Таких шикарных похорон ещё не видавали в тех краях.

Миссис Бэкер тихо плакала. Энди вытащил было пакет из кармана, но сунул его обратно.

— Теперь меня терзает только одно, — сказала миссис Бэкер, — мысль, что мой бедный муж похоронен там, в глухих зарослях, так далеко от дома. Это... жестоко! — И она снова разрыдалась.

— О, всё это будет улажено, миссис Бэкер! — сказал Энди, начиная терять голову. — Об этом позаботится Нед. Нед собирается перевезти его в Сидней и там похоронить.

На этот раз Энди не соврал — первые правдивые слова за весь вечер. Нед сказал, что он это делает, как только продаст шерсть.

— Это очень мило со стороны Неда,— всхлипывая, сказала миссис Бэкер.— А я-то и не подозревала, что он такой добрый и заботливый. Всегда я неверно о нём судила. Больше вы ничего не можете мне рассказать о бедном Роберте?

— Ничего,— сказал Энди, но тут его осенила одна из «счастливых мыслей»:— Да, вот что ещё, миссис Бэкер, он надеялся, что вы переселитесь в Сидней, где у вас есть друзья и родственники. Он думал, что так будет лучше для вас и детей. Он поручил мне передать это вам.

— Он остался заботливым до конца,— сказала миссис Бэкер.— Это так похоже на бедного Роберта — всегда он думал обо мне и детях. На будущей неделе мы переезжаем в Сидней.

У Энди как будто легче стало на душе. Мы еще немного побеседовали, и мисс Стэндиш хотела сварить нам кофе, но мы должны были пойти посмотреть на наших лошадей. Мы встали, столкнулись друг с другом, перепутали наши шапки и обещали миссис Бэкер зайти ещё раз.

— Я очень благодарна, что вы пришли,— сказала она, пожимая нам руку.— Теперь я себя чувствую гораздо лучше. Вы не знаете, какое облегчение вы мне принесли. Так не забудьте же, вы обещали навестить меня ещё раз, в последний раз!

Энди поймал взгляд её сестры и мотнул головой в сторону двери, давая понять, что хочет поговорить с ней вне дома.

— Прощайте, миссис Бэкер,— сказал он, удерживая её руку.— И не терзайте себя. У вас... у вас ещё остаются дети. Это... это всё к лучшему. К тому же и босс сказал, чтобы вы себя не терзали.

И он с грехом пополам выкатился из комнаты

вслед за мной и мисс Стэндиш. Она проводила нас до калитки, и Энди вручил ей пакёт.

— Я хочу, чтобы вы передали это ей,— сказал он.— Тут его письма и бумаги. Почему-то у меня духу нехватило отдать ей.

— Послушайте, мистер М'Каллок,— сказала она,— вы что-то скрыли — вы не всю правду ей сказали. Было бы лучше и безопаснее, если бы я знала всё... Произошло ли это от несчастного случая, или от пьянства?

— От пьянства,— ответил Энди.— Я собирался вам сказать — мне казалось, что так будет лучше. Я твёрдо решил это сделать, но если бы вы меня не спросили, я бы не мог сказать.

— Расскажите мне всё,— попросила она.— Будет лучше, если я всё узнаю.

— Отойдёте немножко от дома,— сказал Энди.

Она прошла с нами вдоль изгороди, и Энди открыл ей правду, насколько хватило у него сил.

— Я буду торопить её с переездом в Сидней,— сказала она.— Мы можем уехать и на этой неделе.

Потом она на минутку приостановилась перед нами, прерывисто дыша и заложив руки за спину, глаза её сияли в лунном свете. Она была великолепно.

— Я хочу поблагодарить вас за неё,— сказала она.— Вы хорошие люди! Вы превосходные, благородные люди. Вряд ли я ещё когда-нибудь увижу вас обоих, а стало быть, беды не будет,— и она положила свою белую руку на плечо Энди и поцеловала его прямо в губы.

— И вас тоже! — сказала она.

Я был выше Энди, и мне пришлось наклониться.

— Прощайте! — сказала она, побежала к калитке и помахала нам рукой.

Мы снова приподняли шляпы и зашагали по дороге.

Думаю, что нам обоим этот поцелуй не принёс вреда.

БЕСЕДА У КОСТРА

— Эта девушка,— продолжал Митчел начатый рассказ, обращаясь к приятелю,— была самой безобразной из всех, кого мне случалось видеть, за исключением одной, о которой я тебе потом расскажу. Старик устроил себе плотницкую мастерскую в сарае позади дома и частенько там работал, а я иной раз заходил потолковать с ним. Однажды сидел я на конце скамьи, старик работал, а Мери стояла тут же, и мы болтали втроём— стоило мне появиться около их дома, как она уже тут, как тут, по крайней мере так мне казалось. Зашла у нас речь о женитьбе, и старикан сказал, что он опять бы женился, если бы его старуха померла.

— Ты опять бы женился!— воскликнула Мери.— Да на ком же ты мог бы жениться, отец? Кто бы за тебя пошёл?

— Бьюсь об заклад,— сказал он,— что я найду кого-нибудь во всяком случае раньше, чем ты. Похоже на то, что ты никого не можешь найти, а тебе давно уже пора пристроиться и выйти замуж. Хотел бы я, чтобы тебя кто-нибудь взял.

Этим он её здорово обидел, ну да и поделом ей было. Сама виновата. Она бросила взгляд на меня и вся покраснела, а потом пошла к своей лохани с бельём.

За чаем она всё больше молчала, видно, обиделась не на шутку, а я начал жалеть, что посмеялся словам старика: в сущности, она была славной, ра-

ботлящей девушкой, и нельзя было не питать к ней добрых чувств.

И вот, после чаю, я пошёл к ней на кухню, где она стирала, чтобы немножко её подбодрить. Сначала она почти не раскрывала рта, говорила только «да» и «нет» и всё время отворачивалась от меня, а я заметил, что она плакала. Стало мне её жалко, я разозлился на старика и принялся её утешать. Но я неправильно взялся за дело. Я ей посоветовал не обращать внимания на старикана, потому что он сказал больше, чем на самом деле думал. Но она как будто ещё сильнее почувствовала обиду, и в конце концов я до того разжалобился, что сказал ей, что я бы и сам на ней женился, если бы она за меня пошла.

— А она что сказала? — помолчав, спросил приятель Митчела.

— Она сказала, что ни за что на свете не пошла бы за меня.

Приятель засмеялся, а Митчел улыбнулся своей невозмутимой улыбкой.

— Вот тут-то я и призадумался,— продолжал он.— Я всегда знал, что чертовски некрасив, и начало гадать меня сомнение, найдётся ли такая девушка, которая согласилась бы за меня пойти. Все время я об этом думал и, наконец, решил раз и навсегда покончить с этим делом — к добру или к худу.

Тут же по соседству жила дочь другого фермера, и я частенько встречал её, возвращаясь домой с работы, а иной раз перекидывался с ней словечком. Что и говорить — красотой она не блистала; Мери по сравнению с ней была Венерой. Ноги у неё были, как у матроса, руки на десять номеров больше, чем ей полагалось, и лицо, как верблюжья морда, только красная, и вдобавок ходила, она, как верблюд. Она была похожа на

лестницу в платье и не могла отличить прописное А от угольного шкапа.

И вот, однажды вечером, я встретился с пей у изгороди и спросил, шутки ради, пошла ли бы она за меня замуж. Ты пойми,— я вовсе не хотел жениться на пей! Мне просто любопытно было узнать, пойдёт ли за меня какая-нибудь девушка.

Она отвернулась и как будто колебалась, и только я повернулся, чтобы уйти, и уже начал подумывать, что дела мои плохи, как вдруг она бросается ко мне и говорит, что будет моей женой... И не её вина, что этого не случилось.

— Что же она сделала?

— Что сделала? Чего только она ни делала! На следующий день она пришла к нам в дом, когда я был на работе, принялась обнимать и целовать мою мать и сестёр, всех по очереди, и сказала матери, что постарается быть её примерной дочерью. Боже милостивый! Посмотрел бы ты на мою старуху и на сестёр, когда я вернулся домой!

Потом она объявила всем и каждому, что Бриджет Пейдж помолвлена с Джеком Митчелом, и сообщила своим подругам, что каждый вечер на коленях благодарит бога, пославшего ей любовь хорошего человека. Ну и дразнили же меня ребята! Сёстры мои были в бешенстве, потому что их дружки то и дело спрашивали, нравится ли им новая сестрица, и когда, дескать, свадьба, и кого пригласят шафером и подружками и очень ли были они удивлены выбором их брата Джека. А я для отвода глаз говорил, будто всё это правда.

Наконец стало мне невтерпёж. Надоело до тошноты увёртываться от этой девушки. Я послал одного моего приятеля сообщить ей, что всё это была шутка, и я, мол, уже состою в тайном браке. Но она не поверила, и тогда я смылся и поступил на работу в Ньюкестле, но пришлось мне оттуда убраться, ко-

гда товарищи прислали мне весточку, что она едет. Я бы не удивился, если бы она притащилась сейчас вслед за мной сюда с узлом на спине. Собственно говоря, когда я в первый раз тебя увидел, у меня мелькнула мысль, что это она переделалась мужчиной... Чего ты элишься? Я же не говорю, что ты так же безобразен, как она! Потому что второй такой уродины, как она, я ещё не видел — ни мужчины, ни женщины. Во всяком случае больше я никогда не предложу женщине выйти за меня замуж, пока всерьёз не захочу жениться.

Тогда начал рассказывать приятель Митчела.

— Я знал один случай, похожий на твой. Рассказала мне о нём хозяйка дешёвой харчевни в Элбани, где я остановился. Жил у неё молодой плотник, удравший из Сиднея от старой девы, которая хотела выйти за него замуж. Кажется, он сбежал из церкви. Был он почти мальчик, лет девятнадцати, парень слабохарактерный, немлюжко похож лицом на тебя, но покрасивей, то есть на него можно было смотреть. И вот, как только женщина узнала, куда он девался, она пустилась вслед за ним. Однажды утром, в субботу, когда Бобби был на работе, она явилась к хозяйке харчевни и первым делом сняла двойной номер и купила чашек и блюдец, чтобы обзавестись хозяйством. Когда Бобби вернулся домой, он только разок посмотрел на неё и сдался. «Ступай обедать, Бобби,— сказала она, похныкав над ним сначала,— а потом одевайся и пойдём пожелимся».

Она была примерно втрое старше его, а лицом смахивала на снимок леди над письмами Сафо Смит в сиднейском «Бюллетене».

И Бобби пошёл с ней, как... как ягнёнок. Он даже не попытался отбрыкнуться или смеяться.

— Стой! — сказал Митчел. — Ты стриг когда-нибудь ягнят?

— Ладно уж! Дай досказать. Бобби женился, но она весь день не отпускала его от себя, и пришлось ему с этим мириться на глазах у всех. Когда пришло время идти спать, он улизнул и стал пробираться по коридору к своей комнате, которую занимал с двумя-тремя товарищами. Но она следила за ним.

— Бобби, Бобби! — кричит она. — Куда ты идёшь?

— Иду спать, — сказал Бобби. — Спокойной ночи!

— Бобби, Бобби! — сердито говорит она. — Это не наша комната. Вот наша комната, Бобби! Сейчас же возвращайся! Что это у тебя на уме, Бобби? Ты меня слышишь, Бобби?

И Бобби вернулся и пошёл с этим пугалом. Наутро она вышла к завтраку первая, в капоте и папильотках. А когда все уселись, вошёл крадучись Бобби — вид у него был ужасно глупый — и стал пробираться бочком к своему месту в конце стола. Но она следила за ним.

— Бобби, Бобби, — сказала она, — подойди, поцелуй меня, Бобби!

И пришлось ему это сделать на глазах у всех. Но, кажется, она была ему хорошей женой.

ДОЧЬ ФЕРМЕРА

I

Она медленно спускалась по крутому склону с главной дороги на тропу в высохшем русле Длинного ущелья, её старая серая лошадь пробиралась зигзагами. Девушке было лет семнадцать; тоненькая, с миловидным веснушчатым лицом, патетически опущенными уголками рта и большими, печальными карими глазами. На ней было выдвигавшее ситцевое платье,

поверх него она надела старую чёрную юбку для верховой езды, а голова её пряталась в одном из тех безобразных, старомодных белых капоров, которые, если посмотреть на них сзади, всегда наводят на мысль о старухах. Она везла несколько свёртков с бакалейными товарами, привязанных к луке ветхого дамского седла.

Тропинка тянулась вдоль ряда каменных водосмиш на дне ущелья, и девушка, проезжая мимо них, боязливо коснулась на эти страшные, зловещие маленькие пруды. Солнце зашло — во всяком случае для Длинного ущелья. Старая лошадь осторожно ступала по неровной тропинке для вьючных животных, тянувшейся то по одну, то по другую сторону русла. Чем дальше, тем глубже и темнее становилось ущелье, и тем круче поднимались его хмурые, поросшие кустарником склоны.

Девушка частенько оглядывалась, словно боялась, что кто-то идёт за ней. Один раз она натянула поводья и стала прислушиваться к каким-то звукам в кустах.

— Кенгуру, — прошептала она.

Это были только кенгуру. Она пересекла тёмную маленькую просеку, где когда-то была ферма, и въехала в густые заросли буксовых кустов и деревьев из породы эвкалиптов с волокнистой корой. Вдруг, тяжело тоная, выскочил впереди на тропинку «старик» кенгуру, ужасно испугав девушку, и бросился вверх по склону.

— Ох, боже мой! — охнула она, схватившись за сердце.

Она очень нервничала в этот вечер. Сейчас у неё заболело сердце, и она прижимала руку к груди, а на глазах выступили слёзы и заблестели при свете луны, поднявшейся над ущельем.

— О, если б только я могла уехать из этих джунглей! — простонала она.

Старая лошадь плелась по тропинке, то и дело потряхивая головой, как будто с грустью; казалось, она знает о её невзгодах и сочувствует ей.

Девушка миновала ещё один расчищенный участок и вскоре подъехала к маленькому дому в ложине, поросшей деревцами с волокнистой корой и расположенной у подножья большого перевала в гряде холмов — «Перевал мертвеца». Место это называлось «Ложиной мертвеца», и название ему подходило. «Дом» — низкое строение из двух комнат с чуланами — был построен из горбылей и волокнистой коры и как будто весь состоял из крыши; кора, потемневшая от недавно выпавшего дождя, придавала ему ещё более мрачный вид, чем обычно.

Рослый грубоватый юноша лет двадцати прибывал гвоздями зелёную кенгуровую шкуру к горбылям. Он был не в духе, потому что ушиб себе большой палец. Девушка отвязала свертки и понесла их в дом. Проходя мимо брата, она сказала:

— Расседлай мою лошадь, Джек.

— Не можешь, что ли, сама её расседлать? — огрызнулся тот. — Не видишь, что я занят?

Она сняла седло и уздечку, отнесла в сарай и повесила на перекладну. Терпеливая старая кляча встряхнулась с такой энергией, которая казалась неуместной, принимая во внимание ее годы и состояние здоровья, и поплелась к «плотине».

В первой комнате у очага, занимавшего чуть ли не половину дома, сидела старуха. Посреди комнаты стоял дощатый стол на вбитых в землю столбиках, а по обеим сторонам две скамьи, не сдвигавшиеся с места. Пол был глиняный. Всё было чисто и убого; но все, что можно было побелить, было побелено, и всё, что можно было вымыть, было вымыто. На полках из горбылей были разостланы чистые газеты, а на них расставлены так, чтобы производить самое выгодное впечатление, блестящие жестянки,

миски и щербатая посуда. Но стены были обезображены рождественскими прилужениями к иллюстрированным журналам.

Девушка вошла и устало опустилась на табурет против старухи.

— Тебе не лучше, мать? — спросила она.

— Чуть-чуть полегче, Мери, чуть-чуть. Ты не видела отца?

— Нет.

— Не понимаю, где он.

— Что ж тут понимать? Что толку беспокоиться, мать?

— Я думаю, он опять запл.

— Вероятно. Как бы ты ни беспокоилась, всё равно делу не поможешь.

Старуха сидела и сетовала на свои невзгоды, как сетуют старухи. Ей было на что сетовать.

— Хотела бы я знать, где твой брат Том. Вот уж год, как мы о нём не слышали. Должно быть, опять попал в беду. Чует моё сердце, что он опять попал в беду.

Мери сорвала с головы капор и бросила его себе на колени.

— Зачем ты беспокоилась об этом, мать? Что толку?

— Я бы хотела только знать. Хотела бы я знать.

— А какой от этого был бы прок? Ты же знаешь, что Том и Фред Дани ушли с гуртом скота, и Фред за ним присмотрит, да и Том стал старше и рассудительнее.

— Ах, тебе нет дела до него, тебе нет дела! Тебе всё равно, но я — мать, н...

— Ради бога, не начинай опять сначала, мать! Ты меня обижает больше, чем думаешь. Я его сестра. Богу известно, сколько я страдала! И без того уж плохо, не делай ещё хуже.

— Отец едет! — крикнул со двора кто-то из ребят. — И тонит домой бычка.

Старуха замерла и нервно сжала руки. Мери постаралась принять беззаботный вид и передвинула кастрюлю на огонь. В сумерках появился верхом на маленькой лошадке дюжий человек с тёмной бородой, гнавший молодого бычка к загону для скота. Один из мальчиков подбежал к изгороди, чтобы опустить перекладню ворот¹.

Вскоре Мери и её мать услышали, как опустили и снова со стуком подняли перекладню, а через минуту послышались тяжёлые шаги, похожие на лошадиный топот. Фермер ввалился в комнату, швырнул шапку в угол и присел к столу. Жена его встала и с деланно весёлым видом принялась хлопотать. Наконец Мери осмелелась задать вопрос:

— Где ты был, отец?

— Там, где меня сейчас нет.

Наступило тяжёлое молчание, продолжавшееся до тех пор, пока старуха не собралась с духом, чтобы сказать:

— Так ты привёл бычка, Уилей?

— Да! — отрезал он; тон был вызывающий.

У старухи руки затряслись так, что она уронила чашку. Мери слегка побледнела.

— Дайте же мне, наконец, чаю. Дайте мне чаю! — рявкнул мистер Уилей. — Я не собираюсь сидеть здесь всю ночь.

Жена его заспешила, стараясь справиться со своей нервностью, и вскоре они уселись пить чай. Старший сын Джек сидел надутый, и отец пробормотал, что вышибет из него топором эту манеру дуться.

¹ В австралийских джунглях обычно изгороди строят так, что вместо ворот в них лишь несколько перекладней, которые опускают, чтобы входящий мог через них переступить. Такими изгородями огорожены участки на сотни километров.

— Чем ты недоволен, Джек? — смиренно спросила мать.

Он кмуру посмотрел на неё и шичего не ответил.

Младшие дети — три мальчика и девочка — начали ссориться, как только уселись за стол. Уилей то и дело покрикивал на них, ругал стряпню и ругал жену за то, что она не может утихомирить детей. За столом раздавалось:

— Мать! Ты не положила сахару в чай.

— Мать! Джимми сел на моё место, пусть он пересядет.

— Мать! Да скажи же Фреду!

— Ох, отец, эта скотина Гарри брыкается!

И так далее.

II

Когда с жалким ужином было покончено, Уилей взял верёвку и нож и вышел на двор, чтобы зарезать бычка. Но сначала была ссора: ему показалось — или он придумал нарочно, — что кто-то пользовался его ножом. Он спутал ноги бычку верёвкой, подтащил его к изгороди и зарезал.

Тем временем Джек и следующий за ним по возрасту мальчик взяли старое ружьё, отвязали собак и отправились охотиться на опоссумов.

Уилей вернулся в дом, сел возле очага и закурил. Дети ссорились из-за книжки, миссис Уилей делала тщетные усилия умиротворить их, но они не обращали на неё внимания. Внезапно муж её с проклятием встал, схватил книжку и бросил её за печку.

— Спать! Спать! — заорал он детям. — Спать, а нето я вам головы размозжу топором.

Кровать была сколочена из молодых деревьев и древесной коры; постелью служили трехбушелые мешки, набитые сеном, и сшитые вместе обрывки

старого одеяла. В постели дети ссорились, пока отец не снял пояса и не «разделался» с ними, как было им обещано. Внезапно наступила тишина, затем послышались звуки, напоминающие стук трещотки, затем рёв, после чего мир и покой спустились на счастливый дом.

Уилей снова вышел и отсутствовал около часа. Вернувшись, он подсел к очагу и мрачно закурил. Спустя некоторое время он выхватил трубку изо рта и истерпеливо повернулся к старухе.

— Ради бога, ступай спать,— резко сказал он.— И не торчи здесь, как проклятый катафалк! Ты на кого угодно тоску нагонишь.

Миссис Уилей собрала своё шитье и удалилась. Тогда он обратился к дочери:

— Пойдём, ты поддержишь свечу.

Мери надела капор и вышла вслед за отцом во двор. Туша лежала у самой изгороди, к которой были прислонены для защиты от ветра две полосы древесной коры. С бычка уже начали сдирать шкуру, и тот кусок, на котором могло быть тавро, был старательно отогнут. Мери заметила это сразу. Отец снова приступил к работе и изредка принимался ругать дочь за то, что она плохо ему светит.

— Где ты купил бычка, отец? — спросила она.

— Не задавай вопросов, и не услышишь лжи.— Потом он добавил:— Разве не видишь, что шкура без тавра?

Он персвернул тушу. Отодранная шкура отвалилась, и при свете свечи можно было ясно разглядеть тавро. Мери побледнела, как простыня, и рука её задрожала так сильно, что она едва удержала свечу.

— Что ты делаешь? — крикнул отец.— Держи свечу, слышишь? Ты ещё похуже старухи.

— Отец! На бычке тавро! Смотри!.. Что означают эти «П. Б.»?

— Пропавший Бедняк, вроде меня. Держи свечу, слышишь?... И держи язык за зубами.

Мери снова затрепетала, услышав подходившую к ним лошадь, но это была только старая серая кляча, которая паслась поблизости. Отец покончил с работой и повесил тушу на примитивную «виселицу».

— Теперь можешь идти спать,— сказал он более мягким тоном.

Она вошла в свою спальню — маленький, низкий чулан из горбылей, пристроенный к дому, — и упала на колени возле койки.

— Боже, помоги мне! Боже, помоги всем нам! — воскликнула она.

Она улеглась, но заснуть не могла. Она была первою больна, на грани безумия, потому что чёрная туча позорного бедствия нависла над её домом. Всегда в тревоге, всегда в тревоге. Это началось давно — с тех пор, как убежал из дому её любимый брат Том. Тогда она была ребёнком, крайне восприимчивым; и когда она сидела в старой школе, ей чудилось, что другие дети думают или шепчут друг другу: «Её брат в тюрьме! Брат Мери Уилей в тюрьме! Том Уилей в тюрьме!» Она до сих пор это помнила. Навсегда остались в её памяти эти страшные дни и ночи, отмеченные первой тенью позора. Она испытывала тот же ужас перед злом, тот же мучительный страх позора, какой был знаком её матери. Она была честолюбива; ей удалось прочесть много книг, и она предавалась безумным мечтам о том, как переседет в большой город и поднимется над серой толпой. Но теперь все это отошло в прошлое.

Но разве удалось бы ей подняться, если жестокая рука позора могла в любой момент стащить её в пропасть!

— Боже мой! — стояла она в тоске. — Если б могли мы родиться, но не иметь родни... не иметь

никого, кто может покрыть нас позором! Боже, это жестоко, жестоко, жестоко — страдать за чужие преступления!

В горе она становилась эгоистичкой, как её мать.

— Я хочу уйти из джунглей и от всех, кого я знаю. О, боже, помоги мне уйти из джунглей!

Она заснула, если можно назвать это сном, и ей грезилось, что она плывёт по морю на корабле, который уносит её далеко, далеко, куда нет доступа её страхам. Потом начался ужасный кошмар: она со всей семьёй была арестована за чудовищное преступление. В испуге она проснулась и увидела в окне красноватое зарево. Её отец ворошил поленья там, где обычно сжигали мусор. Едкий запах проник в разбитое оконное стекло, и её затоснило. Он сжигал шкуру.

В ту ночь Уилей не ложился спать. Позавтракал он до рассвета, и звёзды ещё сияли, когда он выехал верхом на серой лошади к ледяному перевалу, привязав к луке седла мешок с говядиной. Мери не заикалась о прошлой ночи. Мать интересовалась, сколько дал «отец» за бычка, и высказала предположение, что он поехал в город продавать шкуру; бедняжка старалась уверовать в то, что бычок достался ему честным путём. Мери поджарила мяса и ради матери заставила себя поесть, но могла проглотить только несколько кусков. И миссис Уилей как будто лишилась аппетита. Джек и его брат, охотившиеся всю ночь, сытно поели. Потом Джимми начал прибывать колышками шкурки опоссумов, а Джек отправился искать пропавшего пони. Мери должна была подоить всех коров и накормить телят и свиней.

Вскоре после обеда кто-то из ребятишек подбежал к двери и крикнул:

— Мама, три конных стражника выезжают из ущелья!

— О, боже! — вскрикнула мать, падая на стул и дрожа, как лист.

Дети разбежались и спрятались в зарослях кустарника. Мери стояла злоеце спокойная и ждала. Старший из трёх стражников слез с лошади, подошёл к двери, подозрительно посмотрел на остатки обеда и резко задал страшный вопрос:

— Миссис Уилей, где ваш муж?

Она уронила чашку, из которой пила с деланным спокойствием.

— Что такое? Зачем вам понадобился мой муж? — спросила она, жалкая в своём отчаянии.

У неё был вид преступницы.

— Небось, сами знаете, — нетерпеливо отрезал он. Мери подошла и остановилась перед ним.

— Как вы смеете так разговаривать с моей матерью? крикнула она. — Если бы мой бедный брат Том был дома, вы... вы — подлец!

Самый молодой стражник шепнул что-то своему начальнику, потом, задетый его резкой репликой, сказал:

— К чему вам быть свиньей?

Его спутники прошли в запасной чулан, где обнаружили говядину в бочонке, а на скамье, под мешком, уже засоленные куски. Потом они вышли в заднюю дверь и осмотрели коровий загон. Молодой стражник замешкался в доме.

— Я постараюсь увести их под каким-нибудь предлогом в ущелье, — шепнул он Мери. — Припрячьте шкуру, тюка нас не будет.

— Слишком поздно. Смотрите!

Другие двое возились с поленьями, там, где ночью был разложен костёр; кое-где куски обгоревшей шкуры пристали к дереву, как клей.

— Уилей — болван, — заметил старый стражник.

Джек исчез вскоре после того, как его отец был арестован по обвинению в конокрадстве и краже рогатого скота, а блудный сын Том неожиданно вернулся. Он был не похож на отца и на старшего брата. У него было открытое добродушное лицо и очень доброе сердце, но он был подвержен странным приступам безумия и в это время совершал дикие и нелепые поступки с единственной целью приобрести известность. В нём было два человека, один — веселый и добрый, другой — угрюмый и преступный. В этой семье таилась угроза сумасшествия, унаследованного от предков, от безнравственных пьяниц-отцов; при других условиях такая наследственность могла привести к одарённости — быть может, у Мери.

— Бодришься, старушка! — воскликнул Том, похлопывая мать по спине. Знаю, я был сорванцом и болваном, много горя я тебе принёс, но с этим покончено. Я решил остепениться, и скоро мы уедем в Сидней или в Куинсленд. Улыбнись же нам, мать.

Он получил работу землекопа и в течение полугода кормил семью. Потом с ним произошла перемена. Он стал хмурым и угрюмым — даже жестоким. Он мог сидеть часами и ухмыляться себе под нос без всякой видимой причины; потом несколько дней подряд не являлся домой.

— Том опять сбивается с пути, — жаловалась миссис Уилей. — Опять он попадёт в беду, знаю, что попадёт! А мы и без того уже опозорены.

— Ты сделала всё, что могла, мать, — сказала Мери, — и больше ты ничего не сможешь сделать. Люди нас пожалеют. В конце концов беда сама по себе не так ужасна, как вечный страх перед ней. Для отца это послужит уроком — он в нём нуждался, —

и, может быть, он исправится. (Она знала, что этому не бывать.)— Ты сделала всё, что могла, мать.

— Ах, Мери, ты не знаешь, чего я только не перенесла за эти тридцать лет в джунглях с твоим отцом! Мне приходилось на коленях умолять людей, чтобы они его не преследовали судом... То же самое было и с твоим братом Томом. И вот к чему это привело!

— Лучше было бы оставить их на произвол судьбы, мать. Ты должна была уйти от отца, когда узнала, что это за человек. Так было бы лучше для всех.

— Дитя моё, это был мой долг — остаться верной ему; он был моим мужем. Твой отец всегда был дурным человеком, Мери... да, дурным. Слишком поздно я его раскусила. Я не могу рассказать и четверти того, что я с ним перенесла... Я была гордой, Мери: я хотела, чтобы мои дети были лучше, чем у других... Вот моя вина; вот возмездие... Я хотела, чтобы мои дети были лучше, чем у других... Я была такой гордой, Мери.

У Мери был возлюбленный, погонщик скота, находившийся, по всей вероятности, в Куинсленде. Он обещал жениться на ней по возвращении и увезти отсюда её с матерью; во всяком случае, на этом условии она обещала выйти за него замуж. Последнее его путешествие затянулось вот уже на полгода, и не было от него никаких вестей. Она достала номер местной газеты, чтобы почитать о «перегоне скота», но внимание ее привлёк страшный заголовок:

«ДЕРЗКАЯ ПОПЫТКА ОГРАБЛЕНИЯ».

Погонщик скота, известный полиции, как Фредерик 'Данн, он же 'Дрю, был арестован на прошлой неделе и...

Она дочитала до торького конца и сожгла газету. И на неё опустилась тень нового несчастья, более мрачная и злобная, чем все остальные.

Так, в течение нескольких месяцев, влачила существование маленькая отверженная семья в Длинном ущелье, не видя никого, кроме одного сочувствующего их горестям старика, который приходил по вечерам покурить трубку у очага и старался внушить старухе, что дело могло бы обернуться куда хуже и что не стала бы она так терзаться, если бы знала о тех бедах, какие случаются в самых лучших наших семействах, и что всё уладится, а Уилею урок пойдёт на пользу. Да и Том очень изменился, и теперь у него хватит ума не сбиться с пути. «Всё это пустяки,— сказал он,— сущие пустяки. Они не знают, что такое настоящая беда».

Но однажды, когда Мери была одна с матерью, снова приехали стражники.

— Миссис Уилей, где ваш сын Том?— спросили они.

Она сидела неподвижно. Она даже не вскрикнула: «О, боже».

— Не пугайтесь, миссис Уилей,— мягко сказал один из стражников.— Дело пустяшное, и, может быть, Том сумеет оправдаться.

Мери упала на колени подле матери, восклицая:

— Скажи мне что-нибудь, мать! Боже мой, она умирает! Ради меня заговори со мной, мать! Не умирай, мать; это всё неправда. Не умирай, не оставляй меня здесь одну!

Но бедная старуха была мертва.

Уилея выпустили в конце года, а несколько недель спустя он привёл в дом другую женщину.

Боб Бентли, страстующий торговец, сделал привал у подножья скал близ главной дороги, у входа в Длинное ущелье. Товарищ его крепко спал под двуколкой с навесом. Боб с трубкой во рту стоял, заложив руки за спину и повернувшись спиной к костру. Пламя освещало снизу ветви над его головой; туземный медведь сидел на развилке дерева и, моргая, смотрел на огонь, а луна над ним озаряла каждый волосок на его ушах. Из-за деревьев доносилось мелодичное позвякивание цепи, стреноживавшей лошадей, неторопливое постукивание копыт и хруст травы, которую пережёвывали лошади, переходя с места на место из мягкой тени на лунный свет. Старый Гром, большой чёрный пес неопределённой породы, бросил многозначительный взгляд на своего хозяина и помчался вверх по склону, увлекая за собой ещё несколько собак менее крупных. Вскоре Боб услышал «гау-гау-гау!» старого Грома и твяканье мелкоты — они загнали на дерево опоссума. Боб бросился на траву и притворился спящим. Понесся шум, словно скатывался по склону порядочной величины булыжник, а затем Гром обегал вокруг костра, желая знать, пойдёт ли с ним хозяин. Боб захрапел. Пёс подозрительно посмотрел на него, повертелся вокруг и прибег к крайней мере — дважды облизал ему лицо слюнявым языком. Боб вскочил, добродушно выругавшись.

— Ну, старина, — сказал он Грому, — ты мне нервовски надоедаешь. Но вряд ли ты успокоишься, пока я не пойду с тобой.

Он взял ружьё из двуколки, зарядил его и стал подниматься на вершину. Гром то забегал вперёд, то возвращался, указывая дорогу — словно его хозяину недостаточно было лая других собак, чтобы ориентироваться.

Вернувшись с опосеумом, Боб к изумлению своему нашёл в лагере женщину. Она сидела на бревне у костра, уткнув локти в колени и закрыв лицо руками.

— Что такое... какого чор.. кто ты такая?

Девушка подняла бледное искаженное отчаяньем лицо. Это была Мери Уилей.

— Мой отец... и та женщина... они пьянствуют... они меня выгнали! Они выгнали меня!

— Да что вы! Вот беда! Чем я могу вам помочь?

«Ясно, что это сумасшедшая, — подумал он. — Я её принял за привидение».

— Не знаю, — простомала она, — не знаю. Вы мужчина, а я — беспомощная девушка. Они меня выгнали! Моя мать умерла, мой брат ушёл из дому. Смотрите! Смотрите же! Она указала на кровоподтёк на лбу. — Это сделала та женщина. Мой родной отец стоял тут же и видел всё... сказал, что поделом мне! Боже мой!

— Какая женщина? Расскажите мне всё подробно.

— Женщина, которую привел отец.. Я хочу уйти из джунглей.. Ради бога, уведите меня из джунглей.. Я готова на всё... на всё.. только уведите меня из джунглей!

Боб и его товарищ, который к тому времени проснулся, всеми силами старались успокоить ее, как вдруг, не давая им опомниться, она вскочила и вскарабкалась на вершину скалы, нависшей над лагерем. С минуту она стояла в ярком лунном свете, пристально глядя вниз на пустынную дорогу.

— Вот они едут! — крикнула она, указывая на дорогу. — Вот они едут... стражики! Я вижу, как блестят при луне козырьки фуражек. Я ухожу! Мать ушла. Теперь ухожу я!.. Прощайте! Прощайте! Я ухожу из джунглей!

Она побежала, скользя между деревьями, ко входу в Длинное ущелье. Боб и его товарищ бросились за ней, но, не зная местности, потеряли её из виду.

Она побежала к краю гранитного утёса над самой глубокой из каменных водоёмов. Послышался тяжёлый всплеск, и три испуганных кенгуру, пришедшие на водопой, отскочили назад и помчались, как три серых призрака, вверх по склону, к залитой лунным светом вершине.

СТРЕЛЯТЬ В ЛУНУ¹

Мы сделали привал на опушке зарослей Мульги, смотрели, как большая, красная, дымчатая луна выползает из-за края туманной равнины, курили и делились своими мыслями. Наши торбы были набиты исправно, и на нашу компанию оставалось ещё около фунта табаку.

Моему товарищу Джеку Митчелу луна о чём-то напомнила — собственно говоря, что-то всегда о чём-то ему напоминало.

— Случалось ли вам замечать, — лениво сказал Джек, как будто ему вовсе не хотелось начинать рассказ, — случалось ли вам замечать, что всегда стреляют в луну, когда никакой луны нет? Есть у вас спички?

Он закурил; он всегда закуривал, когда о чём-нибудь вспоминал.

— Я припоминаю... Есть у вас нож? Трубка набита.

¹ Улизнуть ночью с вещами из гостиницы, не расплатившись.

Он прокистил трубку, снова набил её и закурил.

— Я приюминаю, как случилось мне, не попросившись с хозяином, выбираться из трактира, где я остановился. Тогда я еще плохо знал этого трактирщика. Комната моя была наверху, окно выходило во двор. В ту пору я всегда носил веревку в своём узле или чемодане. Я тогда путешествовал с чемоданом. Верёвку я таскал на случай какого-нибудь происшествия или пожара, чтобы спускать вещи из окна... Или повеситься, если дело обернётся слишком скверно. Впрочем, я припоминаю, что для этого я таскал с собой револьвер... Это была единственная вещь, которую я никогда не закладывал.

— Револьвер, чтобы повеситься?— спросил товарищ.

— Остряк!—отрезал Митчел.—Ну неважно... Это мне напоминает, как я поручил одному парню в трактире заложить мой единственный костюм, а сам сидел в комнате безвыходно и ждал, пока один старый товарищ принесёт мне фунт. Но револьвер я сохранил, и не пришли он денег, я бы уж давным давно был покойный Джон Митчел.

— А иногда ты спускался из окна, когда никакого пожара не было.

— Что и говорить, ты делаешь успехи! Но слушайте дальше. В том трактире, откуда мне пришлось удирать, не попросившись с хозяином, стояли в моей комнате две кровати, и случилось так, что на другой кровати спал в ту ночь незнакомый мне парень, и только я юткрыл окно и собрался спустить чемодан, он возьми да и проснись.

— Послушай-ка,— сказал я, грозя ему вот этак кулаком,—если ты хоть слово скажешь, я тебя пристукну!

— Ладно,— говорит,— ладно! Ну чего ты набрасываешься на человека! Мой узел лежит под кроватью, а я как раз хотел попросить, чтобы ты

одолжил мне верёвку, когда она тебе будет не нужна.

Тут мы подружились. Звали его Том.. Том.. фамилии не помню, но это неважно. Есть у вас спички?

Он потратил три спички и продолжал:

— Под окном лежало много старого оцинкованного железа, и я боялся, как бы не загрохотать, когда буду опускать чемодан. Во всяком случае мне пришлось бы бросить вниз веревку, и тут без шума не обойтись. Вот мы и порешили, что один из нас спустится во двор и примет вещи. Если бы кто и увидел нас внизу без узлов, беды бы не случилось. Мы могли бы сказать, что идём за чем-нибудь во двор.

— Если бы тебя увидели с узлом, ты мог бы притвориться, что ходишь во сне,— сказал я, не придумав ничего более остроумного.

— Вздор!— отозвался Джек.— Чтобы проснуться с подбитым глазом? Жители джунглей обычно не уносят во сне своих узлов из трактира, да и не разгуливают спящие. Этим занимаются только городские молодчики. Где эти проклятые спички?

Том согласился пойти во двор, и вскоре я увидел под окном тень и спустил узел.

— Всё в порядке?— шопотом спросил я.

— Всё в порядке!— прошептала тень.

Я спустил второй узел.

— Всё в порядке?

— Всё в порядке!— сказала тень, и как раз в ту минуту вылезла луна.

— Все в порядке!— говорит тень.

Но какой уж там порядок! Это был сам хозяин! Оказывается, он проснулся, вышел во двор и повернул назад, как раз тогда, когда мой товарищ Том, крадучись, пробирался задним ходом. Он увидел Тома, а Том увидел его, шмыгнув в дыру в частокале и

марш в заросли. Босс поднял глаза на оклю и подошёл поближе. Я спустился вниз, оробел, признаться, не на шутку и встретился в шим нос к носу. Он сказал:

— Слушай, приятель, почему ты не пришел прямо ко мне и не объяснил, как обстоят дела, вместо того чтобы удирать от беды? Никакой нужды в этом нет.

Я сразу почувствовал себя негодяем, но всё-таки сказал:

— Да ведь мы вас не знали, босс.

— Разве что так. Да, об этом я не подумал. А теперь зови своего товарища и пойдём вышьем. Потолкуем потом.

Тогда я позвал Тома.

— Иди! - заорал я. — Всё в порядке.

Два дня босс нас кормил, а потом дал столько припасов, сколько мы могли снести, да ещё кое-чего промочить горло и несколько бобов на дорогу.

— Что и говорить, он оказался порядочным человеком.

— Да. С той поры я его хорошо узнал и только раз слышал, как один парень плохо отзывался о нём.

— И ты его приклотил?

— Нет. Я было собрался, да Том меня удержал. Он боялся, как бы я всего не испортил, так что он сам это сделал.

— Что он сделал? Всё испортил?

— Подпортил того человека, который клеветал на трактирщика. Ты бы уж лучше не острял. Где сички?

— А Том умел драться?

— Да. Драться Том умел.

— А потом ты ещё долго скитался с ним?

— Десять лет.

— А где он теперь?

— Помер... Дайте сички.

БИЛЛЬ, ПЕТУХ-ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ

— Когда мы жили на ферме в северном округе Австралии, был у нас домашний петух по имени Билль,— начал Митчел.— Это был крупный убудок неизвестной породы, хотя старая леди и называла его «брамой»¹, и по этому поводу у них часто бывали споры со стариком: своё мнение мать отстаивала так же упорно и настойчиво, как отец — своё. Как бы там ни было, мы звали его Биллем и особого внимания на него не обращали, пока не приехал из Сиднея какой-то наш кузен, вздумавший посетить страну и поселившийся у нас, потому что это было дешевле, чем останавливаться в гостинице. Этот парень почему-то заинтересовался Биллем, изучал его дня два или три и, наконец, сказал:

— Да ведь этот петух — чревовещатель!

— Что такое?

— Чревовещатель!

— Проваливай!

— Но это так. Я слышал о подобных случаях, а на такого петуха наткнулся впервые. Билль бесспорно чревовещатель.

Тогда мы вспомнили, что на пять миль в округе не было другого петуха — единственный наш сосед, ирландец Пейдж, не держал в ту пору петухов, а мы частенько слышали пенье какого-то петуха, но даже и не подумали обратить на это внимание. Стали мы присматриваться к Биллю, и оказалось, что он и в самом деле чревовещатель. «Ку-ка» получалось у него как следует, но «ре-ку-у» доносилось как будто издалека. А иной раз всё «кукареку» целиком не выходило и возвращалось к нам, как эхо, где-то блуждавшее в течение года. Билль под-

¹ Брама — ценная порода кур, родина которых в Индии, в бассейне реки Брампутра.

нимался на щипочки, распяливал локти, выгибал шею и делал две-три попытки, как будто глотал яйца. Казалось, шея у него вот-вот сломается и глотка разорвется, но там, где он стоял, ничего не было слышно,— а вдалеке пел петух.

Скоро мы убедились, что самого Билля это очень тревожит. Видите ли, он не знал, что это он сам кричит,— думал, что какой-то другой петух бросает ему вызов, и ужасно хотелось ему найти этого другого петуха. Бывало, влезет на кучу дров, крикнет кукареку и прислушается — опять крикнет и опять прислушается, а потом отправится в дальний конец загона, взлетит на стог и кричит там и прислушивается. Затем перейдёт в другой конец загона, влезет на кучу земли, оставшейся после промывки, и кричит и слушает. Потом пересечёт загон, взберётся на поваленное дерево, лежащее меж молоденьких деревьев, и ещё немного покричит и послушает. Всюду он искал этого другого петуха, но, конечно, не мог найти. Иногда он целый день бродил по всей округе, кукарекал и прислушивался, домой приходил смертельно усталый и отдыхал и прохлаждался в ямке, вырытой для него курами в сыром местечке под полозьями, на которых лежала бочка с водой.

Однажды Пейдж привнёс домой большого белого петуха, и, когда он его выпустил, тот взобрался на стог Пейджа и закукарекал, чтобы узнать, нет ли в этих краях каких-нибудь петухов. Билль вернулся домой усталый. День был жаркий, он выгнал кур из ямки и отдыхал под бочкой, когда запел белый петух. Не теряя времени, Билль выскочил из ямки, влез на кучу дров и ждал, пока снова не раздаётся пение. Тогда и он запел, и белый петух запел снова, и так они перекликались три дня и обзывали друг друга всеми скверными именами, какие только приходили им в голову, а потом уговаривали

одни другого выйти и превратиться в куриный суп и набитую перьями подушку. Но ни тот, ни другой не выходил. Дело в том, что слышались три различных кукареку: кукареку Билля, кукареку чревоуездателя и кукареку белого петуха, а Билль и белый думали, что в лагере противника находятся два петуха, и, стало быть, шансы будут не равны. И в результате оба боялись принять бой.

Но в конце концов Биллю стало невтерпёж. Он решил пойти и покончить с этим делом, хотя бы во дворе у Пейджа была целая сельскохозяйственная выставка боевых петухов, получивших призы и почётные грамоты. Он слез с кучи дров и зашагал по вспаханному полю; голова его была опущена, крылья топорщились, а толстые неуклюжие лапы изо всех сил отталкивались от борозды.

Мне ужасно хотелось пойти посмотреть бой и подбодрить Билля пасмешливыми восклицаниями по адресу его противника. Но я не смел: накануне я проходил поздно вечером по дороге вместе с моим братом Джо, а на верхней перекладине пейджевской изгороди расположились на ночлег ищюшки и ищюшки. Мы смахнули их веткой, а они подняли такой дьявольский переполох, что Пейдж выскочил в одной рубашке и видел, как мы удирали. Я знал, что он подстерегает нас с бичом для волов. Вдобавок между обоими семействами были трения из-за породистого быка, которого взял на прокат Пейдж и отказался дать нам. По моей небрежности этот бык забрался в наш загон: я чинил изгородь между нашим участком и пейджевским и оставил верхнюю перекладину опущенной после захода солнца, когда наши коровы паслись между молоденькими деревцами.

Трения были слишком серьезные, чтобы я мог пойти, но я влез на дерево поближе к изгороди и стал смотреть. Билль решил, что, наконец-то, он нашёл того петуха. Белый петух не желал спускаться

со стога, тогда Билль поднялся к нему, и они дрались до тех пор, пока оба не скатились вниз, и теперь стог заслонял их от меня. Ну и взбесился же я! Я бы согласился отдать свою собаку, только бы увидеть конец боя. Я подошел к участку Пейджа с другой стороны и опять влез на дерево, но, конечно, ничего не увидел и задворками побрёл домой. Только что я пришёл, как появился Пейдж и крикнул:

— Эй, кто у вас тут есть?

Мы с Джо, как змеи, заползли под дом и выглянули из-за сваи. Но Пейдж не сердился, он улыбался во всё лицо, а подмышкой у него был Билль, целый и невредимый. Он очень сстороженно опустил Билля на землю и сказал моим старикам:

— Ваш петух выпотрошил моего петуха, но я не в обиде. Знатный был бой.

А потом мой старик и Пейдж завели разговор, и всё пошло у них по-хорошему. После этого Билль как будто перестал тревожиться из-за чревовещания, но белый петух много времени тратил на поиски того другого петуха. Может быть, он надеялся, что с ним ему повезёт.

Пейдж всё время старался найти такого петуха, который побил бы нашего. Целый месяц он только тем и занимался, что ездил по округе и заводил справки о петухах. Наконец он взял на прокат в городе боевого петуха, внес за него залог пять фунтов и принёс домой. Мой отец и Пейдж договорились устроить бой --- впервые за пять лет удалось им о чем-то договориться.

Назначили бой на воскресенье, когда моя мать, сёстры и ребяташки собрались за пятнадцать миль в гости к каким-то родственникам, чтобы там переночевать. Отец приказал мне поехать с ними верхом, но я знал, что у нас затевается, а потому мой пони охромел на первой же миле, и мне пришлось вернуться, отвести его в дальний загон, спрятать

седло и уздечку в дупло, потихоньку пробраться домой и влезть на крышу сарая. День был нестерпимо жаркий, а я всё утро должен был ползать взад и вперёд через гребень крыши, чтобы не попасться на глаза старику, — он всё время вертелся во дворе.

После обеда начали съезжаться парни со всей округи. Они привязывали своих лошадей к изгороди, и вид был такой, как будто предстоят похороны. Конечно, кое-кто из ребят заметил меня, но я знаками объяснил им, в чём дело, и после этого они предупреджали меня, когда появлялся старик.

Пришёл Пейдж со своим боевым петухом. Звали его Джим. На вид он был совсем неказист, куда меньше и слабее Билля. Многие ребята возмутились и заявили, что это вовсе не боевой петух; Билль расправится с ним в одну секунду, и никакой потехи не будет.

Принесли, стало быть, боевого петуха и опустили его на землю около кучи дров, а Билля вытащили из-под бочки. Он сразу заинтересовался: посмотрел на Джима, влез на дрова, прокукарекал и снова посмотрел на Джима. Билль решил, что, наконец-то, он нашёл того самого петуха, который всё время водил его за нос. Вот тут-то и начался у него обычный его приступ. Он закукарекал и скосил глаза на боевого петуха, крикнул ещё раз и опять покосился на него, потом попробовал кукарекать и в то же время не спускать глаз с боевого. Но Джим ничем себя не скомпрометировал, и только когда «кукареку» всё целиком не удалось Биллю, Джим случайно разинул рот, а Билль это подметил. Он не сомневался в том, что на сей раз поймал его, и тотчас спрыгнул с кучи дров и бросился на врага. Но Джим обратился в бегство, а Билль пустился за ним.

Несколько раз обежали они вокруг кучи дров, и вокруг сарая, и вокруг дома, пробежали под домом, и снова вернулись к дровам, взобрались на них и спустились вниз и снова обежали вокруг них, и так

продолжалось больше часа. Почти всё время клюв Билля был на расстоянии дюйма от хвоста Джима, но подобраться ближе он не мог, как ни старался. А ребята всё время издевались над Пейджем и кричали:

— Какая цена твоему боевому петуху, Пейдж? Валяй его, Билль! Валяй его, старый петух! — И прочее, и прочее.

А боевой петух бегал, как будто для него это одно удовольствие, и пусть бы так продолжалось целый год. Казалось, он ничуть не интересуется происходящим, но Билль был возбужден, а потом взбесился. Он всё ниже опускал голову, всё шире и шире раздвигал крылья, всё сильнее и сильнее отталкивался лапами от земли, но никакого толку от этого не было. Джим держался впереди, как будто даже не делая никаких усилий. До самого конца они не покидали кучи дров, сначала кружили в одну сторону, потом в другую, иногда для разнообразия перескакивали через дрова, а ребята заинтересовались состязанием в беге больше, чем заинтересовались бы боем, и начали держать пари.

Но Биллю мешал его вес. Наконец он выбился из сил; он замедлил бег, он уже едва ковылял, а когда он был окончательно измотан, боевой петух набросился на него и задал ему отеческую трепку.

А меня поймал мой отец, когда я в волнении, ни о чём не думая, слез с крыши. И вот тут он оттрепал меня, как отчим. Но потом ему здорово попало за петушинный бой от старой леди.

Что же касается Билля, то бой принёс ему такое горькое разочарование, что он залез под свою бочку и умер.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие — Генри Лаусон	3
Шапка по кругу	11
Два вечеринка	33
Дети в джунглях	47
Слепота одноглазого Богена	73
История Малаки	85
Гайна Дэва Ригена	91
Расквитались с Дэвом Ригеном	96
Женщине здесь не место	109
Этот мой пёс	121
Разыскиваются полицией	124
Свояченица Брайтена	139
Будильник Арви Эспинолла	168
Визит и соболезнование	172
Стифнер и Джим (Третий — Билль)	178
Мидлтоновский Питер	187
«Товарищ отца»	199
Прибыло к старым берегам	212
Человек, который забыл	215
Рассказать миссис Бэкер	222
Беседа у костра	241
Дочь фермера	245
Стрелять в луну	260
Билль, петух-чревоуцатель	264

Редактор З. Гильдина
Технический редактор Л. Сутина
Подп. к печ. 15/III 45 г. • А1306
Тираж 10 000
8^{1/2} печ. лист.

•• типография треста «Полиграфкнига»
ОГИЗ при СНИК РСФСР
Москва, 1-й Самотечный пер., 17

*Читатель, сообщите ваш
отзыв об этой книге, указав
возраст и профессию
по адресу:*

*Москва, ул. 25 Октября,
д. 10/2. Государственное изда-
тельство художественной
литературы
Массовый сектор*

ОПЕЧАТКИ

<i>Страница</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует</i>
87	18 стр.	в усадьбе „Камешек“	в усадьбе. „Камешек“
143	4 св.	в том духе	в том же духе
158	14—15 св.	белый пень, на рванне золотонского	белый пень, а рваные золотоносного
199	10 св.	Когда мы пе- ресекали гра- ницу Куин- сленда, мне	Когда я в пер- вый раз встретил Бо- ба Бэкера
223	11 св.	по-	

Лаусон. Шапка по кругу

5000h.

